

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ВЕЛЛИИ

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Неопределенная высота над уровнем моря
И. ЕВДОКИМОВ — Усадьба Юрово
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

ПОЭМА: М. Светлов — Кюпы

СТИХИ: В. Саянова, В. Александровского, Г. Коренева, Антона Пришельца, Ник. Попова

ВОСПОМИНАНИЯ: Вл. Бонч-Бруевич — Женевские воспоминания

ЖИЗНЬ НА ХОДУ:

А. СЕРАФИМОВИЧ — В Сормове
В. СОЛЬСКИЙ — Землетрясение

ЛИТЕРАТУРА: Л. Мышковская — Преображение сыря (к ист. созд. «Хаджи-Мурата»). Б. Рейх — Генрик Ибсен

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

БНИГА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

*

К Н И Г А В О С Ъ М А Я

А В Г У С Т 1 9 2 8

М О С К О В С К И Й Р А Б О Ч И Й
М О С К В А * Л Е Н И Н Г Р А Д

Отпечатано
в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Мосполиграф.
Москва, Арбат, Филипповск., 13.
Тираж 2.700.
Мосгублит № 17.994.

Т И Х И Й Д О Н

(Р о м а н)

*

М И Х. Ш О Л О Х О В

(Продолжение)

XV

ПОСЛЕ того, как калединыцы потрепали революционные казачьи части, Донской ревком, вынужденный бежать в Миллерово, поспешил с выяснением своей политической физиономии. На имя Антонова-Овсеевко, в то время непосредственно руководившего боевыми операциями против Каледина и контр-революционной Украинской рады, была отправлена Донским ревкомом декларация следующего содержания:

«Харьков. 19 января 1918 года. Из Луганска, № 449. 18 ч. 20 м. — Харьков, комиссару Антонову. Донской казачий военно-революционный комитет просит вас передать Петроград Совет Народных Коммиссаров следующую резолюцию Донской области.

Казачий военно-революционный комитет на основании постановления фронтового с'езда в станице Каменской постановил:

1. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики, Центральный Исполнительный Комитет С'езда советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депутатов и выделенный им Совет Народных Коммиссаров.

2. Создать краевую власть Донской области из с'езда советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов.

Примечание. Земельный вопрос Донской области разрешается тем же областным с'ездом.

За председателя прапорщик Кривошлыков

Секретарь Дорошев

Члены: прапорщик Стрелянов, Копалей,

Кривушев, Черноусов, Еронин»

После получения этой декларации Антонов двинул на помощь войскам Ревкома красногвардейские отряды, при помощи которых и был разгромлен отряд полковника Чернецова и восстановлено положение. Инициатива перешла в руки Ревкома. После взятия Зверева, Лихой красногвардейские отряды Саблина и Петрова, подкрепленные казачьими частями Ревкома, развивают наступление и теснят противника к Новочеркасску.

На правом фланге, в направлении Таганрога, Сиверс, понесший под Неклиновкой поражение от добровольческого отряда полковника Кутепова, оказался в Амвросиевке, потеряв одно орудие, 24 пулемета и броневик. Но в Таганроге, в день поражения и отхода Сиверса, полыхнуло восстание на Балтийском заводе. Рабочие выбили из города юнкеров. Сиверс оправился, перешел в наступление, развивая его, оттеснил добровольцев до Таганрога.

Успех явно клонился на сторону советских войск. С трех сторон замыкали они Добровольческую армию и остатки калединских «лоскутных» отрядов. 28 января Корнилов прислал Каледину телеграмму, извещавшую о том, что Добровольческая армия покидает Ростов и уходит на Кубань.

29-го, в 9 ч. утра, в атаманском дворце было созвано экстренное совещание членов донского правительства. Каледин пришел из своей квартиры позднее всех. Он тяжело присел к столу, подвинул к себе бумаги. Верхушки щек его пожелтели от бессоницы, под выцветшими, угрюмыми глазами лежали синие тени; словно тлен тронул и изжелтил его похудевшее лицо. Медленно прочитал он телеграмму Корнилова, сводки от командиров частей, притовостоявших на севере от Новочеркасска натиску красногвардейцев. Тщательно утюжа кипку телеграмм широкой белой ладонью, не поднимая опухших, затененных синью век, глухо сказал:

— Добровольческая армия уходит. Для защиты области и Новочеркасска осталось сто сорок семь штыков...

Живчик подергал у него веко левого глаза, судорога наплыла от угла сжатых губ; повысив голос, он продолжал:

— Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровополития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

Митрофан Петрович Богаевский, глядевший в широкий пролет окна, поправил пенсне, не поворачивая головы, сказал:

— Я тоже слагаю с себя свои полномочия.

— Правительство в целом, разумеется, тоже слагает полномочия. Встает вопрос — кому же мы передадим власть?

— Городской думе, — сухо ответил Каледин.

— Надо это оформить, — нерешительно заметил член правительства Карев.

Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного утра томился за вспотевшими окнами. Город, завуалированный туманом и инеем, дремно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул (отголоски боев, шедших где-то под станцией Сулин) мертвил движение, висел над городом глухой невысказанной угрозой.

За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольной, как над падалью. На Соборной площади лиловый и свежий лежал снег. По нем редкий проходил пешеход, да изредка проезжали извозчицы сани, оставляя за собой темные нити проследка.

Изломав стылую тишину, Богаевский предложил составить акт о передаче власти городской думе.

— Надо бы совместно с ними собраться для передачи.

— В какое время удобней всего?

— Позднее, часа в четыре.

Члены правительства, словно обрадовавшись, что склепанная молчанием тишина распалась, начали обсуждать вопрос о передаче власти, о времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу выпуклыми ногтями пальцев. Под обвисшими бровями тускло слюдяным блеском туманились глаза. Безмерная усталость, отвращение, надрыв делали взгляд его отталкивающим и тяжелым.

Один из членов правительства, возражая кому-то, говорил нудно и долго. Каледин прервал его с тихим озлоблением:

— Господа, короче говорите! Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла. Объявляю перерыв на полчаса. Обсудите и... потом поскорее надо кончить это.

Он ушел в свою квартиру. Члены правительства, разбившись на кучки, тихо разговаривали. Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богаевский стоял у окна, до слуха его дошла фраза, сказанная полушопотом:

— Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство — единственный приемлемый выход.

Богаевский вздрогнул, быстрыми шагами направился в квартиру Каледина. Вскоре он вернулся в сопровождении атамана.

Решено было собраться в 4 часа совместно с городской думой для передачи ей власти и акта. Каледин встал, за ним поднялись остальные. Прощаясь с одним из матерых членов правительства, Каледин следил глазами за Яновым, о чем-то шептавшимся с Каревым.

— В чем дело? — спросил он.

Янов подошел немного смущенный.

— Члены правительства — не казачья часть — просят о выдаче им денег на проезд.

Каледин сморщился, кинул жестко:

— Денег у меня нет... Надоело!

Стали расходиться. Богаевский, слышавший этот разговор, отозвал Янова в сторону.

— Пойдемте ко мне. Скажите Светозарову, чтобы он подождал в вестибюле.

Они вышли следом за спешно шагавшим, ссутулившимся Калединым. У себя в комнате Богаевский вручил Янову пачку денег.

— Здесь четырнадцать тысяч. Передайте тем.

Светозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, поблагодарил и, распрощавшись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швейцара шинель, услышал шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками спускался адъютант Каледина — Молдавский.

— Доктора! Скорее!!

Швырнув шинель, Янов кинулся к нему. Дежурный адъютант и ординарцы, толпившиеся в вестибюле, окружили сбежавшего вниз Молдавского.

— В чем дело?! — крикнул, бледнея, Янов.

— Алексей Максимович застрелился! — Молдавский зарыдал, грудью упал на перила лестницы.

Выбежал Богаевский; губы его дрожали, как от страшного холода, он заикался.

— Что? Что?..

По лестнице толпой, опережая друг друга, бросились наверх. Гулко и дроботно звучали шаги бежавших. Богаевский, хлебая раскрытым ртом воздух, хрипло дышал. Он первый с громом откинул дверь, через переднюю пробежал в кабинет. Дверь из кабинета в маленькую комнату была широко распахнута. Оттуда полз и курился прогорклый сизый дымок, запах сожженного пороха.

— Ох! ох! А-а-а-ха-ха!.. Але-е-ша!.. Род-но-о-о-ой!.. — слышался неузнаваемо-страшный, раздавленный голос Марии Петровны Калединой.

Богаевский, как при удушьи, разрывая на себе воротник сорочки, вбежал туда. У окна, вцепившись в тусклую золоченую ручку, горбатился Карев. На спине его под курткой судорожно сходились и расходились лопатки, он крупно редко дрожал. Глухое, воюще-звериное рыданье взрослого чуть не выбило из-под ног Богаевского почву.

На походной офицерской койке, сложив на груди руки, вытянувшись, лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута набок, к стене; белая наволочка подушки тенела синеватый влажный лоб

и прижатую к ней щеку. Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У ног его билась упавшая на колени жена. Вязкий одичавший голос ее был режуще остр. На койке лежал кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая чернорудая струйка.

Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч, на столике — часы-браслет.

Криво качнувшись, Богаевский упал на колени, ухом припал к теплой и мягкой груди. Сердце Каледина не билось. Пахло крепким, как уксус, мужским потом. Богаевский, — вся жизнь его в этот момент ушла в слух, — несказанно жадно прислушивался, но слышал только четкий тик лежавших на столике ручных часов, хриплый, захлебывающийся голос жены мертвого уже атамана, да через окно — пророческое, обрекающее и звучное карканье ворон.

XVI

Черные глаза Анны, блестящие слезами и улыбкой, увидел Бунчук в первый раз, как только открыл глаза.

Три недели был он в бредовом беспамятстве: Три недели странствовал в ином, неосязаемом и фантастическом мире. Сознание вернулось к нему вечером 24 декабря. Он долго смотрел на Анну серьезным затуманенным взглядом, пытался восстановить в памяти в порядке последовательности все, что было связано с ней; это удалось ему лишь отчасти, — память была тута, неподатлива, многое пока еще хоронила где-то в глубине.

— Дай мне пить... — попрежнему издалека донесся до слуха его собственный голос, и от этого стало весело; он улыбнулся.

Анна стремительно пошла к нему; она вся светилась скупой, сдержанной улыбкой.

— Пей из моей руки, — отстранила она вяло тянущуюся к кружке руку Бунчука.

У него шевельнулась к ней благодарность. Дрожь от усилий поднять голову, напился и устало отвалился на подушку. Долго смотрел в сторону, хотел что-то сказать, но слабость осилила, — задремал.

И опять, как и в первый раз, проснувшись, увидел прежде всего устремленные на него встревоженные и волнующие глаза Анны, потом шафранный свет лампы, белый круг от нее на досчатом некрашеном потолке.

— Аня, поди ко мне.

Она подошла, взяла его за руку. Он ответил слабым пожатием.

— Как ты себя чувствуешь?

— Язык чужой, голова чужая; ноги тоже, а самому будто двести лет, — тщательно выговаривал он каждое слово; помолчав, спросил: — Тиф у меня?

— Тиф.

Повел глазами по комнате, невнятно сказал:

— Где это?

Она поняла вопрос, улыбнулась.

— В Царицыне мы.

— А ты... как же?

— Я одна осталась с тобой, — и, словно оправдываясь или стараясь отвести какую-то невысказанную им мысль, заспешила. — Тебя нельзя было бросить у посторонних. Меня просил Абрамсон и товарищи из бюро, чтобы берегла тебя... Вот видишь, пришлось неожиданно ходить за тобой.

Он поблагодарил взглядом, слабым движением волосатой руки.

— Крутогоров?

— Уехал через Воронеж в Луганск.

— Геворкянц?

— Тот... видишь ли... он умер от тифа.

— О!..

Помолчали, словно чья память покойного.

— Я боялась за тебя. Ты ведь был очень плох, — тихо сказала она.

— А Боговой?

— Всех потеряла из виду. Некоторые уехали в Каменскую. Но, послушай, тебе не вредно говорить? И потом, не хочешь ли молока?

Бунчук отрицательно качнул головой, с трудом владея языком, продолжал расспрашивать.

— Абрамсон?

— Уехал в Воронеж неделю назад.

Он неловко ворохнулся, — закружилась голова, больно хлынула к глазам кровь. Почувствовав на лбу ее прохладную ладонь, открыл глаза. Его мучил один вопрос: он был без сознания — кто же выполнял за ним грязный уход? Неужели она? Румянец чуть окрасил его щеки, спросил:

— Ты одна ухаживала за мной?

— Да, одна.

Он отвернулся к стене, прошептал:

— Стыдно им... Мерзавцы!.. Бросили на твое попечение...

Осложнение после тифа сказывалось на слухе: он плохо слышал. Врач, присланный царицынским комитетом партии, сказал Анне, что к лечению можно будет приступить только после того, как больной окончательно оправится. Бунчук выздоравливал медленно. Аппетит был

у него чудовищный, но Анна строго придерживалась диеты. На этой почве происходили у них столкновения.

— Дай мне еще молока, — просил Бунчук.

— Больше нельзя.

— Я прошу — дай! Что ты меня голодом хочешь уморить?

— Илья, ты же знаешь, что больше меры я не могу дать тебе еды.

Он обиженно замолкал, отворачивался к стене, вздыхал, подолгу не разговаривал. Страдая от почти детской жалости к нему, она выдерживала характер. Спустя некоторое время он, нахмуренный и от этого еще более жалкий, поворачивался, просил умоляюще:

— Нельзя ли соленой капусты? Ну, пожалуйста, Аня, родная!..

Ты мне уважь... Вредно?.. Докторские басни!

Натыкаясь на решительный отказ, он иногда обижал ее резким словом.

— Ты не имеешь права так издеваться надо мной! Я сам позову хозяйку и спрошу у нее! Ты бессердечная и отвратительная женщина!.. Право, я начинаю тебя ненавидеть.

— Это лучшая расплата за то, что я перенесла, будучи твоей нянькой, — не выдерживала и Анна.

— Я тебя не просил оставаться возле меня! Бесчестно упрекать меня этим. Ты пользуешься своим преимуществом. Ну, да ладно... Не давай мне ничего! Пусть я издохну... Велика жалость!

У нее дрожали губы, но она сдерживалась, замолкала; потворствуя ему, как больному, терпеливо сносила все.

Раз только, после одной, особенно резкой перебранки, когда она отказала ему в лишней порции пирожков, Бунчук отвернулся, и она, с жавшимся в комочек сердцем, заметила на его глазах блестящие слезы.

— Да ты просто ребенок! — воскликнула она.

Побежав на кухню, принесла полную тарелку пирожков.

— Ешь, ешь, Илюша, милый! Ну, полно, не сердись же! На вот этот поджаренный! — дрожащими руками совала в его руки пирожок.

Бунчук, глубоко страдая, попробовал отказываться, но не выдержал, выпирая слезы, сел и взял пирожок. По исхудавшему лицу его, густо обросшему курчавой мелкой бородой, скользнула виноватая улыбка, сказал, выпрашивая глазами прощение:

— Я хуже ребенка... Ты видишь: я чуть не заплакал...

Она глядела на его странно тонкую шею, на впалую, бестелесную грудь, видневшуюся через распахнутый ворот рубашки, на костистые руки; волнуемая глубокой неиспытываемой раньше любовью и жалостью, в первый раз просто и нежно поцеловала его сухой желтый лоб.

Только через две недели был он в состоянии без посторонней помощи передвигаться по комнате. Высохшие в былку ноги подламывались; он заново учился ходить.

— Смотри, Анна, иду! — пытался пройтись независимо и быстро, но ноги не выдерживали тяжести тела, рвался из-под ступней пол.

Вынужденный прислониться к первой попавшейся опоре, Бунчук широко, как старик, улыбался, кожа на прозрачных щеках его туго натягивалась, морщинилась. Он смеялся старчески-дребезжащим, трухлявым смехом и, обессилев от напряжения и смеха, снова падал на койку.

Квартира их была неподалеку от пристани. Из окна виднелся снеговой размет Волги, леса за ней — широким серым полудужьем, мягкие волнистые очертания дальних полей. Анна подолгу простаивала около окна, думая о своей диковинной, круто переломившейся жизни. Болезнь Бунчука странно сроднила их. Но еще до этого, в Ростове, после первых же встреч, с внутренним холодком и дрожью поняла, что причалена к нему неотрывно-прочно. Не вовремя, в грозовой год, на девятнадцатой весне ее коротенькой, как сон, девичьей жизни ворохнулось чувство, повлекло к Бунчуку. Сердцем выбрала его, неприглядного и простого, в боях срослась с ним, отняла у смерти, выходила...

Вначале, когда после долгой, мучительной дороги приехала с ним в Царицын, было тяжело, горько до слез. В первый раз пришлось ей так близко и так оголенно взглянуть на изнанку общения с любимым. Стиснув зубы, меняла на нем белье, вычесывала из завшивевшей горячей головы паразитов, переворачивала каменно-тяжелое тело и, содрогаясь, с отвращением смотрела украдкой на его голое исхудавшее тело мужчины — на оболочку, под которой чуть теплилась дорогая жизнь. Внутренне все вставало в ней на дыбы, противилось, но грязь наружного не пятнила глубоко и надежно хранившегося чувства. Под его властный указ научилась преодолевать боль и недоумение. И преодолела. Под конец было лишь сострадание, да бился, просачиваясь наружу, глубинный родник любви.

Раз как-то Бунчук сказал:

— Я тебе противен после всего этого... правда?

— Это было испытание.

— Чему? Выдержке?

— Нет, чувству.

Бунчук отвернулся и долго не мог унять дрожь губ. Больше разговоров на эту тему у них не было. Лишними и бесцветными были бы слова.

После выздоровления Бунчука дружеские отношения их не нарушались ни одной размолвкой. Он словно возмещал то, что по его вине перенесла она, был исключительно внимателен, предупреждал каждое ее желание, но делал это не навязчиво, с неприсущей ему мягкостью, и она оценила это. Жесткими, но уже иными — покоренными и бесконечно преданными глазами смотрел он на нее.

В середине января они выехали из Царицына в Воронеж. Глядя с площадки на остающийся сзади город, Анна положила на плечо Бунчука руку, сказала, будто доканчивая прерванный тогда разговор.

— В необычайной обстановке мы сошлись... Пожалуй, даже не нужно бы было... Это от разума, а не от сердца, разумеется. И знаешь почему я говорю — не нужно? Смотри... — она повела рукой, указывая на снежную степь, кружившуюся за полотном опромным, блещущим, серебряным рублем: — там все кипит. Необходимо напряжение всех сил, а чувство, по-моему, разжижает устремленность. Надо бы нам или раньше, или позднее встретиться.

— Неверно! — Бунчук улыбнулся, прижимая ее к себе. — Мы с тобой будем одним человеком, и это не только не будет ослаблять нашу целеустремленность, но даже наоборот — усиливать ее. Смотри: сломить один пруттик легко, но два сплетенных вместе уже труднее.

— Пример, Илюша, не особенно удачный.

— Хотя бы... но весь этот разговор — в пустой след.

— Это верно, да и потом я вообще уж вовсе не так опечалена тем, что мы... — она, смущаясь, запнулась: — наполовину сошлись. Личное ведь не сможет задушить в нас желания бороться...

— ...и побеждать, чорт возьми! — докончил Бунчук, стискивая в своей руке ее маленький, воинственно сжатый кулачок.

То, что они не были до сих пор физически близки, придавало их отношениям какой-то отроческий, волнующе-нежный характер. Желание перейти последнюю грань сближения не тяготело над ними. Анну это обстоятельство по-своему радостно волновало; спросила, думая об этом:

— Не правда ли, наши отношения с тобой совсем не похожи на отношения подобного рода? Хозяйка в Царицыне, да и все считали нас мужем и женой... правда? Как это хорошо, уже одним тем, что выходит из мещанских рамок обиденного. В боях мы с тобой слобились и сумели сохранить наше чувство, не грязня его животным, земным...

— Романтика! — усмехнулся Бунчук.

— Что? — переспросила она.

Бунчук молча погладил ее голову.

Анна затуманенными глазами долго смотрела на снеговое раздолье, на далекие неясные контуры проплывавших мимо хуторов, на лиловые гребни перелесков, на прорези баераков. Заговорила торопливо; придушенно-низок и напевен был прудной, виолончельный тембр ее голоса:

— И потом вообще, как гадко и жалко выглядит сейчас всякая забота о создании своего индивидуального, маленького счастьяца. Что значит оно в сравнении с тем необъемлемым людским счастьем, которого добивается революцией исстрадавшееся человечество? Не

правда ли? Нужно раствориться вот в этом порыве к освобождению, нужно... нужно слиться с коллективом и забыть про себя, как про обособленную частицу. — Она тихо, как ребенок во сне, улыбнулась одними углами нежного и мужественного рта; на верхней губе от улыбки легла колеблющаяся тень. — Знаешь, Илья, будущую жизнь я ощущаю как далекую-далекую, сказочно-прекрасную музыку. Ну, вот, как во сне иногда слышишь... Ты слышишь музыку во сне? Это не отдельная, тончайшая мелодия, а могущественный и согласный, нарастающий аккордами гимн. Кто же не любит красоту? Я люблю ее во всех, даже мельчайших проявлениях... А разве не красива будет жизнь при социализме? Ни войн, ни нищеты, ни угнетения, ни национальных перегородок — ничего! Как намусорили, нагадили люди на земле... Сколько человеческого горя пролито!.. — Она рванулась к Бунчуку, искала его руки. — Ну, скажи: разве не сладко умереть за это? Ну, скажи же! А? Во что же верить, как не в это? Из-за чего же жить?.. Мне кажется, если я умру в бою... — Она прижала руку Бунчука к груди, так что он слышал приглушенный бой ее сердца, и, глядя на него снизу вверх потемневшим глубоким взглядом, зашептала: — и если смерть не будет мгновенна, то последнее, что я буду ощущать, — это торжественный, потрясающе-красивый гимн будущего.

Бунчук слушал, утнув голову. Его запалил ее молодой, страстный порыв, и сквозь ритмический перестук колес, сквозь скрип вагона и звон рельсов ему почудилась величественная невнятная мелодия. Неся на спине мурашковую дрожь, пошел к наружной двери, пинком ноги распахнул ее. На площадку с посвистом ворвался ветер, колючая снежная пыль, пар и неумолчный могучий рев паровоза.

XVII

16 января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж. Пробыли там два дня и выехали на Миллерово, так как в день отъезда получили вести, что туда перебрались Донской ревком и верные ему части, вынужденные под давлением каледицев очистить Каменскую.

В Миллерове было суетно и людно. Бунчук задержался там на несколько часов и со следующим поездом выехал в Глубокую. На другой день он принял пулеметную команду, а утром следующего дня был уже в бою с чернецовским отрядом.

После того как Чернецова разбили, им с Анной неожиданно пришлось расстаться. Прибежала она утром из штаба оживленная и чуть опечаленная.

— Ты знаешь — здесь Абрамсон. Он очень хочет повидать тебя. А потом еще новость — сегодня я уезжаю.

— Куда? — удивился Бунчук.

— Абрамсон, я и еще несколько товарищей едем в Луганск на агитационную работу.

— Ты бросаешь отряд? — холодно спросил Бунчук.

Она засмеялась, прижимаясь к нему раскрасневшимся лицом:

— Признайся: тебя печалит не то, что бросаю отряд, а то, что тебя бросаю? Но ведь это на-время. Я уверена, что на той работе я принесу больше пользы, чем около тебя. Агитация, пожалуй, больше в моей специальности, чем пулеметное дело... — и шаловливо повела глазом, — изученное хотя бы под руководством такого опытного командира, как Бунчук.

Вскоре пришел Абрамсон. Он попрежнему был кипуч, деятелен, непоседлив, так же сверкал белым пятном на жуковой, как осмоленной голове. Бунчуку искренне обрадовался.

— Поднялся на ноги? Оч-чень хорошо! Анну мы забираем, — и догадливо-намекаяюще сощурился: — Ты не возражаешь? Не возражаешь? Да-да... Да-да, оч-чень хорошо! Я оттого задаю такой вопрос, что вы, вероятно, жили в Царицыне.

— Не скрываю, что мне жаль с ней расставаться, — Бунчук хмуро и натянуто улыбнулся.

— Жаль?! Уже и этого много... Анна, ты слышишь?

Он походил по комнате, на ходу поднял из-за сундука запыленный томик Гарина-Михайловского и, встрепенувшись, начал прощаться.

— Ты скоро, Анна?

— Иди. Я сейчас, — ответила та из-за перегородки.

Переменив белье, она вышла. На ней была подпоясанная ремнем защитная солдатская гимнастерка с карманами, чуть оттопыренными грудью, и та же черная юбка, местами заштопанная, но чистая безукоризненно. Тяжелые, недавно вымытые волосы пушились, выбивались из узла. Она одела шинель, затягивая пояс, спросила (недавнее оживление ее исчезло, и голос был тускл, просящ):

— Ты будешь участвовать в наступлении сегодня?

— Ну, конечно! Ведь не буду же я сидеть сложа руки.

— Я прошу тебя... Послушай, будь осторожен! Ты сделаешь это ради меня? Да? Я оставляю тебе лишнюю пару шерстяных чулок. Не простудись, старайся не промочить ног. Из Луганска я напишу тебе.

У нее как-то сразу выцвели глаза; прощаясь, призналась:

— Вот видишь, мне очень больно уходить от тебя. Вначале, когда Абрамсон предложил ехать в Луганск, я оживилась, а сейчас чувствую, что без тебя там будет пустынно. Лишнее доказательство, что чувство сейчас излишне — оно вяжет... Ну, как бы то ни было, прощай!..

Попрощалась сдержанно-холодно, но Бунчук понял это так, как и надо было понять: она боялась растерять запас решимости.

Он вышел проводить. Анна пошла суетливо, поводя плечами, не оглядываясь. Ему хотелось окликнуть ее, но он заметил, прощаясь, в ее чуть косящем, затуманенном взгляде чрезмерный и влажный блеск; насилуя волю, крикнул с поддельной бодростью:

— Надеюсь, увидимся в Ростове! Будь здорова, Аня!

Анна оглянулась из-под плеча, ускорила шаг.

После ее ухода Бунчук со страшной силой почувствовал одиночество. Он вернулся с улицы на квартиру, но сейчас же выскочил оттуда, как обожженный... Там каждый предмет еще дышал ее присутствием, каждая вещь хранила ее запах: и забытый носовой платок, и солдатский подсумок, и медная кружка, — все, к чему прикасались ее руки.

Бунчук до вечера прослонялся по станции, испытывая небывалое беспокойство и такое ощущение, словно отрезали у него что-то, и он никак не освоится в новом своем положении. Растерянно присматривался он к лицам незнакомых красногвардейцев и казаков, некоторых угадывал, многие угадывали его.

В одном месте его остановил казак-сослуживец по германской войне. Он затащил Бунчука к себе на квартиру, пригласил принять участие в игре. За столом дулись «в очко» красногвардейцы из отряда Петрова и недавно прибывшие матросы-мокроусовцы. Одетые табачным дымом, они звонко буцали картами, шуршали керенскими деньгами, ругались, бесшабашно кричали. Бунчука потянуло на воздух, вышел, не попрощавшись.

Вручило его то, что через час пришлось идти в наступление.

XVIII

После смерти Каледина Новочеркасская станица вручила власть походному атаману Войска Донского генералу Назарову. 4 февраля с'ехавшимися на Круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. На Круг собралась незначительная часть делегатов, преимущественно представители низовских станиц южных округов. Круг именовался Малым. Работу свою начал 4 февраля. Назаров, заручившись поддержкой Круга, объявил мобилизацию от 17 до 55 лет, но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станицы вооруженных отрядов для производства мобилизации.

В день начала работ Малого Круга в Новочеркасске с Румынского фронта походным порядком пришел 6-й донской казачий генерала Краснощекова полк, под командой войскового старшины Тащина. Полк от самого Екатеринослава шел с боями, прорывая большевистское кольцо. Его трепали под Пятихаткой, Межевой, Матвеевым-Курганом и во многих местах, но, несмотря на это, он прибыл почти в полном составе, при всех офицерах.

Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади Назаров благодарил казаков за то, что сохранили дисциплину, блестящий порядок и с оружием пришли на защиту Дона.

6-го полк был отправлен на фронт, под станцию Сулин, а 8-го пришли в Новочеркасск черные вести: полк, под влиянием большевистской агитации, самовольно ушел с позиций и отказался защищать войсковое правительство.

Работа Круга шла вяло. Предрешенность борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров — этот энергичный, кипучий генерал — сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая.

Рушились трухой последние надежды. Смыкалась и захлестывала горло области большевистская петля. Уже прогремело возле Тихорецкой. Слухи шли, что движется из Царицына к Ростову тамошний большевистский командир-хорунжий Автономов.

9-го утром в Ростов вошел отряд капитана Чернова, теснимый Сиверсом, с тыла обстреливаемый казаками Гниловской станицы. Крохотная оставалась перемычка, и Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, в этот же день отдал приказ об уходе на станицу Ольгинскую.

Весь день по вокзалу и офицерским патрулям постреливали с Темерника рабочие. Перед вечером из Ростова выступила густая колонна войска. Она протянулась через Дон жирной черной тядокой, извиваясь, поползла на Аксай. По обрыхлевшему мокрому снегу грузно шли куценькие роты. Мелькали гимназические шинели со светлыми пуговицами, зеленые — реалистов, но в массе преобладали — солдатско-офицерские. Взводы вели полковники и капитаны. В рядах были начиная с юнкеров и прапорщиков, кончая полковниками. За многочисленными подводами обоза шли беженцы — пожилые, солидные люди, в городских пальто, в галошах, через которые лилась вода. Женщины семенили около подвод, застревая в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках.

В одной из рот Корниловского полка шел есаул Евгений Листницкий. В ряду с ним — подтянутый строевой офицер, штабс-капитан Старобельский, поручик Суворовского Фанагорийского пенадерского полка Бочагов и подполковник Ловичев — престарелый, беззубый боевой офицер, весь как матёрый лисовин, покрытый рыжей проседью.

Накапливались сумерки. Морозило. От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер. Листницкий привычно, не теряя ноги, месил растолоченный снег, взглядывая в лица обгонявших роту людей. Мимо них, обочь дороги, прошли командир Корниловского полка капитан Неженцев и бывший командир Преображенского гвардейского полка пол-

ковник Кутепов, в распахнутой шинели и сбитой на крутой затылок фуражке.

— Господин командир! — окликнул Неженцева полковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку.

Кутепов повернул широколобое, бычье лицо с редко посаженными черными глазами и подстриженной лопатистой бородкой; из-за его плеча выглянул на окрик Неженцев.

— Прикажете первой роте прибавить шаг! Ведь этак и замерзнуть немудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе...

— Безобразие! — затрубил горластый и шумоватый Старобельский.

Неженцев, не отвечая, прошел мимо. Он о чем-то спорил с Кутеповым. Немного спустя опередил их Алексеев. Кучер гнал сытых, вороных, с подвязанными хвостами лошадей; из-под копыт их вились и брызгали кругом снежные ошлепки. Красный от ветра Алексеев, с белыми приподнятыми усами и сторчевыми, такими же белыми бровями, по самые уши натянул фуражку, сидел, бочком привалиясь к спинке коляски, зябко придерживая левой рукой воротник. Офицеры улыбками проводили его знакомое всем лицо.

На взрыленной множеством ног дороге кое-где просачивались желтые лужи. Итти было тяжело — ноги раз'езжались, сырость проникала в сапоги. Листницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер, в меховой куртке и простой казачьей папахе, говорил:

— Вы видели, поручик? Председатель Государственной думы Родзянко, старик — и идет пешком.

— Россия всходит на Голгофу...

Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать:

— Голгофа... с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути — снег, притом мокрый, плюс одиннадцать градусов холода по Цельсию.

— Не знаете, господа, где ночевка?

— В Екатеринодаре.

— В Пруссии мы однажды такой вот поход ломали...

— Как-то нас приветит Кубань. Что?.. Разумеется, там иное дело.

— У вас есть курить? — спросил у Листницкого поручик Головачев.

Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморкавшись по-солдатски, вытер пальцем о полу шинели.

— Усваиваете демократические манеры, поручик?.. — тонко улыбнулся подполковник Ловичев.

— Поневоле усвоишь. Вы-то... или дюжиной носовых платков за-
паслись?

Ловичев не ответил. На красно-сединных усах его висели зелено-
ватые сосульки. Он изредка шморгал носом, морщился от холода, про-
никавшего сквозь подбитую ветром шинель.

«Цвет России», — думал Листницкий, с острой жалостью оглядывая
ряды и голову колонны, ломано изогнувшейся по дороге.

Проскакало несколько всадников, среди них — на высоком донце
Корнилов. Его светло-зеленый полушубок с косыми карманами по бокам
и белая папаха долго маячили над рядами. Густым рыкающим «ура»
проводжали его офицерские батальоны.

— Все бы это ничего, да вот семья... — Ловичев по-стариковски
покряхтел, сбоку заглянул в глаза Листницкого, как бы ища сочув-
ствия: — семья осталась у меня в Смоленске... — повторил он. — Жена
и дочушка — девушка. На рождество исполнилось ей семнадцать лет...
Каково это, есаул?

— Да-а-а...

— Вы тоже семейный? Из Новочеркасска?

— Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался.

— Не знаю, что с ними... Как они там без меня, — продолжал
Ловичев.

Его с раздражением перебил Старобельский:

— У всех семьи остались. Не понимаю, чего вы хнычете, подпол-
ковник? Уди-ви-тельный народ! Не успели выйти из Ростова...

— Старобельский! Петр Петрович! Вы были в бою под Таганро-
гом? — крикнул кто-то сзади через ряд.

Старобельский повернулся раздраженным лицом, пасмурно улыб-
нулся.

— А... Владимир Георгиевич, вы какими судьбами в наш взвод?
Перевелся? С кем неполадил? Ага... ну, это понятно... Вы спрашиваете
про Таганрог? Да, был... а что? Совершенно верно... убили его.

Листницкий, невнимательно прислушиваясь к разговору, вспоминал
свой отъезд из Ягодного, отца, Аксию. Его душила внезапно зады-
мившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги, смотрел на колы-
хавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками, на го-
ловы в папахах, фуражках и башлыках, раскачивавшиеся в ритм шагу,
думал:

«Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы
несет сейчас каждый из этих пяти тысяч, преданных остракизму. Вы-
бросили, сволочи, из России — и здесь думают растоптать. Посмотрим!..
Корнилов выведет нас к Москве!»

В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью
перешел на воспоминания того дня.

Где-то недалеко, сзади, наверное в хвосте роты, шла батарея. Пофыркивали лошади, громыхали барки, даже запах конского пота доносило оттуда. Листницкий сразу почувствовал этот знакомый волнующий запах, повернул голову: передний ездовой, молодой прапорщик, посмотрел на него и улыбнулся, как знакомому.

К 11 марта Добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда в Ольгинскую походного атамана Войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в задонские степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1.600 сабель, при 5 орудиях и 40 пулеметах.

Утром 13-го Попов, сопровождаемый своим начальником штаба, полковником Сидориным, и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую.

На плацу возле дома, занятого Корниловым, он осадил коня, придерживаясь за луку, тяжело перенес через седло ногу. Его поддержал подскочивший вестовой — молодой черночубый казак со смуглым лицом и острыми, как у чибиса, глазами. Попов кинул ему поводья, степенным шагом пошел к крыльцу. Сидорин и офицеры, спешившись, последовали за ним. Вестовые через калитку ввели во двор коней. Пока один из них, пожилой, колченогий, навешивал торбы, другой, черночубый, похожий на чибиса, уже завязал знакомство с хозяйской работницей. Он что-то сморозил ей; работница — румяная девка, в кокетливо повязанном платке и глубоких галошах, насаженных на босые ноги, — смеясь и оскользаясь, прошлепала мимо его по луже к сараю.

Осанистый, пожилой Попов вошел в дом. В передней сдал на руки расторопному вестовому шинель, повесил на вешалку плеть, долго и звучно сморкался. Вестовой проводил его и Сидорина, на ходу приглаживавшего волосы, в зал.

Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разостланную карту, по правую руку от него белел сединой сухенький и пряменький, свежесвыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колочими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки похаживают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей.

Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Алексеев задал несколько малозначащих вопросов о дороге и эвакуации Новочеркасска. Вошли Кутепов, с ним несколько строевых офицеров, приглашенных Корниловым на совещание.

Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил:

— Скажите, генерал, численность вашего отряда?

— Полторы тысячи сабель, батарея, сорок пулеметов с прислутой.

— Обстоятельства, понудившие Добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом... — Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, заговорил торопливей. — По пути увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению. — Он глянул на сощуренный, отосланный в сторону взгляд Попова, докончил: — Мы предлагаем вам присоединиться с вашим отрядом к Добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. Дробить силы — не в наших интересах.

— Я не могу этого сделать, — решительно и круто заявил Попов. Алексеев чуть склонился в его сторону.

— Почему, разрешите спросить?

— Потому, что я не могу покинуть территорию Донской Области и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе зимовников переждем события. На активные действия противника нельзя рассчитывать в виду того, что не сегодня-завтра начнется оттепель, — переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу будет невозможно, а из района зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развить партизанские действия.

Попов с веской уверенностью приводил доводы, отклоняющие предложение Корнилова. Он передохнул и, видя, что Корнилов хочет что-то сказать, упрямо мотнул головой:

— Позвольте докончить... Помимо этого есть еще один сугубой важности фактор, и мы, командование, его учитываем: это — настроение наших казаков. — Он вытянул мясистую белую руку с золотым кольцом, всосавшимся в мякоть указательного пальца, чуть повысив голос, оглядывая всех продолжал: — В том случае, если мы повернем на Кубань, явится опасность распада отряда. Казаки могут не пойти. Не надо забывать того обстоятельства, что постоянный и наиболее крепкий контингент моего отряда — казаки, а они вовсе не так устойчивы морально, как... хотя бы ваши части. Они, просто, несознательны. Не пойдут — и все. А рисковать потерей всего отряда я не могу, — отчеканил Попов и вновь перебил Корнилова: — Прошу прощения, я выказал вам наше решение и смею уверить вас, что изменить его мы не в состоянии. Разумеется, дробить силы не в наших интересах, но из создавшегося положения есть один выход. Я полагаю, что, исходя из соображений, высказанных сейчас мною, Добровольческой армии было

бы благоразумней идти не на Кубань, — настроения кубанского казачества вселяют в меня немалые тревоги, — а вместе с донским отрядом — в задонские степи. Там она оправится, пользуясь передышкой, к весне пополнится новыми кадрами волонтеров из России...

— Нет! — воскликнул Корнилов, вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в задонские степи и упорно оспаривавший противоположное мнение Алексеева. — Нет смысла идти в зимовники. Нас около шести тысяч человек...

— Если вопрос о продовольствии, то смею вас уверить, ваше высокопревосходительство, район зимовников не оставляет желать лучшего. Притом там вы можете взять у частных коннозаводчиков лошадей и посадить часть армии на коней. У вас будут новые шансы при ведении полевой маневренной войны. Конница вам необходима, а Добровольческая армия ею не богата.

Корнилов, в этот день особенно предупредительный к Алексееву, посмотрел на него. Он, по всей вероятности, колебался в выборе направления, искал поддержки у чужого авторитета. Алексеева выслушали с большим вниманием. Старый генерал, привыкший кратко, исчерпывающе-ясно разрешать задачи, в нескольких спрессованных фразах высказался в пользу похода на Екатеринодар.

— В данном направлении нам легче всего прорвать большевистское кольцо и соединиться с отрядом, действующим под Екатеринодаром, — закончил он.

— А если это не удастся, Михаил Васильевич? — осторожно спросил Лукомский.

Алексеев пожевал губами, повел рукою по карте.

— Даже если предположить неудачу, то у нас останется возможность дойти до Кавказских гор и расплыть армию.

Его поддержал Романовский. Несколько горячих слов сказал Марков. Против тяжеловесных аргументов Алексеева будто бы и нечего было противопоставить, но слово взял Лукомский, выровнял весы:

— Я поддерживаю предложение генерала Попова, — заявил он, неспешно подбирая слова. — Поход на Кубань сопряжен с большими трудностями, учесть которые отсюда не представляется возможным. Прежде всего нам придется два раза пересекать железную дорогу...

По направлению его пальца к карте потянулись взгляды всех участников совещания. Лукомский напористо продолжал:

— Большевики не преминут встретить нас должным образом — они подведут бронированные поезда. У нас тяжелый обоз и масса раненых; оставить их мы не можем. Все это будет чрезвычайно обременять армию и препятствовать скорейшему ее продвижению. Затем мне непонятно, откуда создалась уверенность, что кубанское казачество настроено к нам дружелюбно? На примере донского казачества, тоже якобы тяго-

тившегося властью большевиков, мы должны с архиосторожностью и с крупной дозой здорового скептицизма относиться к подобным слухам. Кубанцы болеют тоже большевистской трахомой, которую занесли из прежней российской армии... Они могут быть враждебно настроенными. В заключение должен повторить, что мое мнение — итти на восток, в степи, и оттуда, накопив силы, прозить большевикам.

Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил итти западнее Великокняжеской, пополнить на походе нестроевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть на Кубань. Распустив совещание, он перекинулся несколькими фразами с Поповым, холодно попрощавшись с ним, вышел в свою комнату. За ним прошел Алексеев.

Начштаба донского отряда полковник Сидорин, звякая шпорами, вышел на крыльцо, сочно-обрадованно крикнул вестовым:

— Лошадей!

К крыльцу, придерживая шашку, ступая через лужи, подошел молодой светлорусый казачий сотник. Он остановился у нижней ступеньки, спросил шопотом:

— Что же, господин полковник?

— Не плохо! — с приподнятой бодростью, вполголоса ответил Сидорин. — Наш отказался итти на Кубань. Сейчас выезжаем. Вы готовы, Изварин?

— Да, лошадей везут.

Вестовые, посадившись, вели лошадей. Черночубый, похожий на чибиса, поглядывал на своего товарища.

— Хороша, што ль? — спрашивал он, прыская.

Пожилой сдержанно ухмылялся.

— Как конский лишай.

— А так, случаем, позвала бы?

— Оставь, дурак! Ноне ить великий пост.

Изварин, бывший сослуживец Григория Мелехова, вскочил на своего вислозадного, с лысиной во весь лоб, белоноздрого коня, приказал вестовым:

— Выезжайте на улицу.

Попов и Сидорин, прощаясь с кем-то из генералов, сошли с крыльца. Один из вестовых придерживал коня, помог генеральской ноге найти стремя. Попов, помахивая казачьей неказистой плетью, тронул коня ходкой рысью, за ним зарысили, привстав на стремях и чуть валясь вперед, вестовые — казаки, Сидорин и офицеры.

В станице Мечетинской, куда прибыла Добровольческая армия через два перехода, Корнилов получил дополнительные сведения о районе зимовников. Сведения были отрицательного характера. Созвав командиров строевых частей, Корнилов объявил о принятом решении итти на Кубань.

К Попову был послан ординарец с вторичным предложением присоединиться. Ординарец-офицер догнал армию под участком Старо-Ивановским. Ответ, привезенный им от Попова, был тот же: Попов вежливо и холодно отказывался принять предложение, писал, что решение его не может быть изменено и что он остается пока в Сальском округе.

XIX

С отрядом Голубова, двинувшимся кружным путем для захвата Новочеркасска, выехал и Бунчук. 10 февраля они выбрались из Шахтной, прошли станицу Раздорскую, к ночи были уже в Мелиховской. На следующий день с расветом выехали из станицы.

Голубов вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура; плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеновскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок прунтовой дороги.

Возле Кривянской сбились с дороги, но сейчас же напали на свою. Забрехала зорька, когда въезжали в Кривянскую. Станица была еще безлюдна. Возле площадки, у колодезя, старик-казак рубил в корыте лед. Голубов под'ехал к нему, отряд остановился.

— Здорово, старик!

Казак медленно донес руку в варежке до папахи, ответил неприязненно:

— Здравствуйте.

— А что, дедушка, ушли ваши станичные казаки в Новочеркасск? Мобилизация была у вас?

Старик спешно поднял топор, пошел в ворота не отвечая.

— Трогай! — от'езжая и ругаясь, крикнул Голубов.

В этот день Малый Войсковой Круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман Войска Донского, генерал Попов, уже вывел из столицы вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Утром получены были сведения, что Голубов из Мелиховской идет по направлению на Бессергеновскую. Круг послал для переговоров с Голубовым об условиях сдачи Новочеркасска есаула Сиволобова. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам он, на взмыленном мокром коне, в сопровождении лустой кучи казаков, галопом подскочил к зданию Круга. Около под'езда толпилось несколько человек зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошастью Назарова.

Бунчук прыгнул с коня, схватил ручной пулемет. Вместе с Голубовым и с толпой остальных казаков вбежал в здание Круга. На хляк

распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо забелели лица.

— Вста-а-ать! — напряженно, будто на смотре,скомандовал Голубов и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума.

Члены Круга, промыхая стульями, встали на властный окрик, один Назаров остался сидеть.

— Как вы смеете прерывать заседание Круга? — зазвенел его гневный голос.

— Вы арестованы! Молчать! — Голубов, багровея, побежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хрипый визг: — Встать, тебе говорят! Бери его!.. Ты!.. Я кому говорю?! Золотопогонник!..

Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены Круга толпились овечьей отарой. Мимо Бунчука казаки протащили Назарова, позеленевшего от страха председателя Круга Волошинова и еще несколько человек.

Гремя шашкой, следом шел бурый, в пятнах румянца, Голубов. Его за рукав схватил какой-то член Круга.

— Господин полковник, ваша милость, куда же нам?

— Мы свободны? — из-за его плеча высунулась скользкая, юркая голова другого.

— Идите к чорту! — крикнул, отмахиваясь, Голубов и, уже поравнявшись с Бунчуком, повернулся к членам Круга, толкнул ногой: — Ступайте к мне не до вас!.. Ну?!

Его хрипый, обветривший голос долго еще перекатами ходил по залу.

Бунчук переночевал у матери, а на другой день, как только в Новочеркасске стало известно о взятии Сиверсом Ростова, он отпросился у Голубова и наутро выехал туда верхом.

Два дня работал в штабе у Сиверса, который знал его, еще будучи редактором «Окопной правды», навевываясь в ревком — ни Абрамсона, ни Анны там не было. При штабе Сиверса организовался революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными белогвардейцами. Бунчук день проработал, обслуживая нужды суда, участвуя в облавах, а на следующий, уже не надеясь, забежал в ревком и еще с лестницы услышал виолончельный густой голос Анны. Кровь кинулась ему в сердце, когда он, замедляя шаг, вошел во вторую комнату, откуда слышались голоса и смех Анны.

В комнате, где в прежнее время помещалась комендантская, лохматился табачный дым. В углу за небольшим дамским столиком писал что-то человек в шинели без пуговиц, с развязанными наушниками солдатской папашки, кругом него толпились солдаты и штатские в

полушубках и пальто. Они, разбившись на кучки, курили, разговаривали. У окна спиной к двери стояла Анна, на подоконнике, вцепившись в колено своей согнутой ноги, сидел Абрамсон, рядом с ним, избочив голову, стоял высокий, латышской складки красногвардеец. Он отводил палиросу, топыря мизинец, и что-то рассказывал — повидимому, смешное: откидываясь, сочно смеялась Анна, арбузной коркой морщился от улыбки Абрамсон, ближние прислушивались, улыбаясь, а на крупном лице красногвардейца, в каждой, как топором вырубленной черте жило и теплилось умное, острое и немножко злое.

Бунчук положил руку на плечо Анны.

— Здравствуй, Аня!

Она оглянулась. Краска залила ее лицо, хлынула по шее до ключиц, выжала из глаз слезы.

— Откуда ты? Абрамсон, посмотри! Вот он — как новый гривенник, а ты о нем беспокоился! — залепетала она, не поднимая глаз, и не в силах овладеть смущением отошла к двери.

Бунчук пожал горячую руку Абрамсона, перекинулся с ним несколькими фразами и, чувствуя на лице своем глупую, беспредельно счастливую улыбку, не отвечая на какой-то вопрос Абрамсона (он даже не понял его смысла), пошел к Анне. Она оправилась, встретила его немного злой за свое смущение улыбкой.

— Ну, здравствуй еще раз. Как ты? Здоров? Когда приехал? Из Новочеркасска? Ты был в отряде Голубова? Вон как... Ну, и что же?

Бунчук отвечал на вопросы, не сводя с нее неловкий тяжеловесный взгляд. Ответный взгляд ее подламывался, скользил в сторону.

— Давай на минутку выйдем на улицу, — предложила Анна.

Их окликнул Абрамсон.

— Вы скоро придете? У меня к тебе, товарищ Бунчук, есть дело. Мы думаем использовать тебя на одной работе.

— Я приду через час.

На улице Анна прямо и мягко глянула в глаза Бунчуку, досадливо помахала рукой.

— Илья, Илья, как я нехорошо смутилась... Как девчонка! Это объясняется, во-первых, неожиданностью, во-вторых, нашим половинчатым положением. В сущности, кто мы с тобой? Идиллические «жених и невеста»? Знаешь, в Луганске у меня как-то Абрамсон спрашивает: «Ты живешь с Бунчуком?» Я опровергла, но он весьма наблюдательный парень и не мог не видеть того, что бросалось в глаза. Он ничего не сказал, но по глазам я видела — не верит.

— Рассказывай же про себя — что и как ты?

— О, мы там качнули дело! Сколотили целый отряд в двести одиннадцать штыков. Вели организационную и политическую работу... да разве все это расскажешь в двух словах? Я еще нахожусь под впечат-

тлением твоего внезапного прихода. Где ты... ночуешь где? — прерывая разговор, спросила она.

— Тут... у товарища.

Бунчук замаялся, сказав неправду: эти ночи проводил он в помещении штаба Сиверса.

— Ты сегодня же перейдешь к нам. Помнишь, где я живу? Ты провожал меня когда-то.

— Найду. Но... не стесню я твою семью?

— Оставь, никого ты не стеснишь, и вообще об этом не говори.

Вечером Бунчук, забрав свои пожитки, помещавшиеся в просторной солдатской сумке, пришел в тот окраинный переулок, где жила Анна. На пороге небольшого кирпичного флигеля его встретила старуха. Лицо ее неясно напоминало Анну: тот же иссиня-черный блеск глаз, немного погнутый нос, только кожа морщинистая и землистая, да провалившийся рот пугает старостью.

— Вы — Бунчук? — спросила она.

— Да.

— Прошу вас, проходите. Дочь говорила мне о вас.

Она проводила Бунчука в маленькую комнату, указала, куда положить вещи, ревматически сведенным пальцем повела вокруг.

— Здесь вы уже будете жить. Койка эта вашей милости.

Она говорила с заметным еврейским акцентом, не совсем чисто. Кроме нее в доме был небольшой подросток — девочка, тщедушная и такая же, как Анна, широкоглазая.

Анна пришла спустя немного. Она внесла с собою шум и оживление.

— У нас никого не было? Бунчук не приходил?

Мать ответила ей что-то на родном языке, и Анна твердой скользящей походкой подошла к двери.

— К тебе можно?

— Да, да.

Бунчук, поднявшись со стула, пошел ей навстречу.

— Ну, как? Устроился?

Она довольным, смеющимся взглядом оглядела его, спросила:

— Ты что-нибудь ел? Пойдем туда.

За рукав гимнастерки ввела его в первую комнату, сказала:

— Это, мама, мой товарищ, — и улыбнулась. — Вы его не обижайте.

— Ну, что ты, разве можно такое?.. Он — наш гость.

Ночью по Ростову стрючками вызревшей акации лопались выстрелы. Изредка горланил пулемет, потом все стихло. И ночь, величавая, черная, февральская ночь, вновь тишиной повивала улицы. Бунчук и Анна долго сидели в его строго опрятной комнатке.

— Здесь мы с сестренкой жили, — говорила Анна. — Видишь, как у нас скромно — как у монашек. Ни дешевых картин, ни фотографий, ничего такого, чтобы приличествовало мне по положению гимназистки.

— Чем вы жили? — в разговоре спросил Бунчук.

И Анна не без внутренней гордости ответила:

— Я работала на Асмоловской фабрике и давала уроки.

— А теперь?

— Мама шьет. Им вдвоем мало надо.

Бунчук рассказывал подробности взятия Новочеркасска, боев под Зверевом и Каменской. Анна делилась впечатлениями о работе в Луганске и Таганроге. В одиннадцать, как только мать потушила у себя огонь, она ушла.

XX

В марте Бунчук был послан на работу в революционный суд при Донском ревкоме. Высокий, тусклоглазый, испитой от работы и бессонных ночей председатель отвел его к окну своей комнаты, сказал, поглаживая ручные часы (он спешил на заседание):

— С какого года в партии? Ага, дельно. Так вот ты будешь у нас комендантом. Прошлую ночь мы отправили в «штаб Духонина» своего коменданта... за взятку. Был форменный садист, безобразник, сволочь, — таких нам не надо. Эта работа грязна, но нужно и в ней сохранить целеньким сознание своей ответственности перед партией, и ты только пойми меня, как надо... — нажал он на эту фразу: — человечность сохранить. Мы по необходимости физически уничтожаем контр-революционеров, но делать из этого цирк нельзя. Ты понимаешь меня? Ну, и хорошо. Иди принимай дела.

В эту же ночь Бунчук с командой красновардейцев в шестнадцать человек расстрелял в полночь за городом, на третьей версте, пятерых, приговоренных к расстрелу. Из них было двое казаков Гниловской станицы, остальные — жители Ростова.

Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, при чем в работе участвовали и смертники и часть красновардейцев. Бунчук строил красновардейцев, ронял чугунно-глухие слова:

— По врагам революции... — и взмахивал наганом: — Пли!..

За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их голодный и тоскующий блеск. Анна видела его лишь по ночам. Она работала в ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе.

Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила:

— Ужинать будешь?

Бунчук не ответил, пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать. Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалившиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью.

Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шопотом:

— Тебе тяжело, Илья?

Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и унулся, не сказав ни слова, а во сне что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного страха: он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков.

— Уйди оттуда! — просила его наутро. — Иди лучше на фронт! Ты ни на что не похож, Илья! Сгибнешь ты на этой работе.

— Замолчи!.. — крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами.

— Не кричи. Я обидела тебя?

Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало, рассматривая свои ладони, сказал:

— Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души... Ишь, ты... — в первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался. — На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь, чорт их побери! прежде, чем садить цветники и деревца, надо грязь счистить! Удобрить надо! Руки надо измазать! — повышал он голос, несмотря на то, что Анна, отвернувшись молчала. — Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгуют!.. — уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая кровавыми глазами.

В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише:

— Я не уйду с этой работы! Тут я вижу, ощутимо чувствую, что делаю пользу! Сребаю нечисть, удобряю землю, чтоб тучней была! Плодовитей! Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди... Может, сын мой будет ходить, какого нет... — Он засмеялся скрипуче и невесело. — Музыка будущего... ты помнишь, Анна? Сколько я расстрелял этих гадов... клещей... Клещ — это насекомое такое, в тело в'едается... С десяток вот этими руками убил... — Бунчук вытянул вперед сжатые, как у коршуна, когтистые, черноволосые руки, роняя их на колени, шопотом сказал: — И вообще к чорту! Гореть, так чтобы искры летели, а чадить нечего... Только я, правда, устал... Еще немного, и уйду на фронт... ты права....

Анна, молча слушавшая его, тихо сказала:

— Уходи на фронт или на иную работу... Уходи, Илья, иначе ты... свихнешься.

Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно.

— Нет, я крепок... Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала литы... В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил... не был нравственно исцарапанным. Но не о тех, с погониками, болит сердце... Те — сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе девяти расстреливать трех казаков... тружеников... Одного начал развязывать... — Голос Бунчука становился глуше, невнятной, словно отходил он все дальше и дальше: — тронул его руку, а она, как подошва... черствая... Проросла сплошными мозолями... Черная ладонь, порепалась... вся в садинах... в буграх... Ну, я пойду, — резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосьяным арканом, жесткой спазмой.

Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна. Долго держала его тяжелую волосатую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор.

Время помахивало куцыми днями. Теплело. С Азова в гирла Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По городу начались убийства, прабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые, окончательно разложившиеся, отряды Ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось без столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками инородными, кое-где погромывали восстания, открывались контр-революционные заговоры. А Ростов жил стремительной, полнокровной жизнью: по вечерам по Большой Садовой расхаживали толпы солдат, матросов, рабочих. Митинговали, лутили семечки, поплевывали в стекавшие над тротуарами ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили, спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком, жили, одолеваемые большими и малыми страстишками. К Ростову в упор подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло.

В один из этаких, политых солнцем, пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше обычного и удивился, застав Анну дома.

— Ведь ты же поздно всегда приходишь, а сегодня почему так?

— Я не совсем здорова.

Она прошла за ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал:

— Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в суде.

— Да что ты? Куда же тебя?

— В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ.

Пужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть, курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из суда, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится. Он докуривал четвертую папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне на ее оголенный овал плеча падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы.

— Подвисься... Молчи...

Легла рядом. Горячие ноги ее дрожали в коленях. Опираясь на локоть, привстала, палящим шелестом ему на ухо:

— Я пришла к тебе, только тише... тише... мама спит...

Она нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула дымящимся синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:

— Глупо хранить какую-то девственность, когда не сегодня — завтра я могу лишиться тебя... Я хочу тебя любить со всей силой! — и жутко содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!

Бунчук целовал ее поникшие непочато-тупие прохладные груди, гладил податливое тело и с ужасом, с великим, захлеснувшим все его сознание стыдом, чувствовал, что он бессилен.

Стискивая ладонями его щеки, ища дрожащими губами его губы, она притягивала его к себе, бесстыдно просила:

— Скорей!.. Скорей же... милый!..

Бунчук медленно, как срезанный выстрелом, валился с нее. У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, руки ее вились на груди, оправляя рубашку; с отворачиванием и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шопотом:

— Ты... ты бессилен? Или ты... болен?.. О-о-о, как это мерзко!.. Оставь меня!

Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, омутно черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, паралично дергая головой:

— За что? За что судишь? Да, выгорел до тла!.. Даже на это неспособен сейчас... Не болен... пойми, пойми! Опустошен я... А-а-а-а...

Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна.

Анна встала, молча обняла его сзади и спокойно, как мать, поцеловала в лоб.

А через неделю, когда случилось то, что должно было случиться, Анна, пряча под его рукой свое зажженное огнем румянцем лицо, призналась:

— ...Думала, израсходовался раньше... Не знала, что до дна вычерпала тебя работа.

И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку и огонек женщины, любимой, но и теплую, налитую вровень с краями материнскую заботливость.

В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова, он остался в Ростове. В это время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду советов, к схватке с ожившей за Доном контр-революцией.

XXI

За приречными вербами разноголоса гомонили лягушки. За бутром валилось через порог солнце. По хутору Сетракову рассасывалась предвечерняя прохлада. От домов на сухую дорогу падали огромные косые тени. Из степи пропылил табун. С выгона, перебреживаясь новостишками, погоняя коров хворостинами, шли казачки. По проулкам босые и уже загоревшие казачата казаковали в чехарде. Старики степенно сидели на завалинках.

Хутор отсекся. Лишь кое-где досевали просо и подсолнухи.

Возле одного из крайних дворов на сваленных дубах сидели казаки. Хозяин куреня, рябой батарец, рассказывал о каком-то случае из германской войны. Собеседники — старик-сосед и зять его, молодой кучерявый казачок, — молча слушали. С крыльца сошла хозяйка, высокая, красивая и дородная, что боярыня, казачка. Розовая, вобратая в юбку, рубаха на ней была засучена в локтях, оголяла смуглые точеные руки. Она несла цыбарку широко и вольно, той, свойственной лишь казачкам, щеголеватой походкой пошла на коровий баз. Волосы ее, повязанные белым подсиненным платком, растрепались (она только что наложила в печку кизеков, приготавливая к завтраку затоп), надетые на босые ноги чирики шлепали, мягко приминали буйно разросшуюся по базу молодь зеленых пышаток.

До слуха сидевших на дубах казаков дошел звонкий бег молочной струи по стенкам цыбарки. Хозяйка подоила коров, прошла в курень, чуть изгинаясь, в левой руке, согнутой по-лебединому, несла полную цыбарку молока.

— Сёма, ты б пошел телка поискал, — певуче крикнула она с порожек.

— А Митяшка где ж? — отозвался хозяин.

— Холера его знает, убог.

Хозяин неторопливо поднялся, пошел к углу. Старик с зятем тоже направились-было домой. Их с угла окликнул хозяин:

— Гляко-сь, Дорофей Гаврилыч! Поди сюда!

Старик и зять его подошли к казаку. Он молча указал в степь. По шляху багровым шаром катилась пыль, за ней двигались ряды пехоты, обоз, конные.

— Войско, никак? — изумленно прижмурился дед и положил на белые брови ладонь.

— Штоб такое, што за люди? — занудился хозяин.

Из ворот вышла его жена, уже в накинутой на плечи кофтенке. Она глянула в степь, растерянно ахнула:

— Штой-то за люди? Иисусе Христе, сколько их много!

— Недобрые, видать, люди...

Старик затоптался на месте и пошел к своему двору, зятю сердито крикнул:

— Ступай на баз, нечево глядеть!

К концу проулка бежали ребятишки и бабы, кучками шли казаки. В степи, в версте расстояния от хутора, тянулась по шляху колонна; до дворов доплескивал ветер невнятный гул голосов, конское ржанье, перегуд колес.

— Это не казаки... Не нашинские люди, — сказала казачка мужу. Тот повел плечом.

— Конешное дело, не казаки. Кабы не немцы были?!.. Нет, русские... Гля, красный лоскут у них!.. Ага, вот оно што...

Подошел высокий атаманец-казак. Его, как видно, трепала лихорадка: был он песочно-желт — как в желтухе валялся, одет в шубу и валенки. Он приподнял косматую папаху, сказал:

— Вишь, хорухвь ихняя какая?.. Большевики.

— Они.

От колонны отделилось несколько всадников. Они в намёт поскакали к хутору. Казаки, переглянувшись, молча стали расходиться, девки и ребятишки брызнули врассыпную. Через пять минут проулок вымер. Конные кучей вскакали в проулок, горяча лошадей, под'ехали к дубам, на которых четверть часа назад сидели казаки. Хозяин-казак стоял возле ворот. Передний из всадников, по виду — старший, на караковом коне, в кубанке и с огромным красным шелковым бантом на защитной, опоясанной боевыми ремнями рубахе, под'ехал к воротам:

— Здорово, хозяин! Отчиняй ворота.

Батареец побелел рябинами лица, снял фуражку.

— А вы што за люди?

— Отчиняй ворота!.. — крикнул солдат в кубанке.

Караковый конь, кося злым глазом, гоняя в запененном рту мундштуки, ударил передней ногой в плетень. Казак открыл калитку, и всадники один за одним вехали на баз.

Тот, который в кубанке, ловко прыгнул с коня, вывернутыми ногами споро зашагал к крыльцу. Пока остальные слезали с лошадей, он, усевшись на крыльце, успел достать портсигар. Закуривая, предложил хозяину. Тот отказался.

— Не куришь?

— Спасибочка.

— У вас тут не старовиры?

— Не, православные... А вы кто такие будете? — хмуро допытывался казак.

— Мы-то? Красногвардейцы второй Социалистической армии.

Остальные, спешившись, шли к крыльцу, лошадей вели в поводу, привязывали их к перилам. Один — верзила, со свалывшимся, как лошадиная прива, чубом, цепляясь за шашку ногами, пошел на овечий баз. Он по-хозяйски распахнул воротца, нырнул, пригинаясь, под навес сарая, вывел оттуда, держа за рога, большого, с тяжелым курюком барана-валуха.

— Петриченко, поди, помоги! — крикнул он резким фальцетом.

К нему рысью побежал солдатик в куцой австрийской шинели. Хозяин-казак гладил бороду, оглядывался, ровно на чужом базу. Он ничего не говорил, и только тогда, крякнув, пошел на крыльцо, когда валух, с перерезанным шашкой горлом, засучил тонкими ногами.

За хозяином следом пошел в курень солдат в кубанке и еще двое: один — китаец, другой — русский, похожий на камчадала.

— Ты не обижайся, хозяин! — переступая порог, игриво крикнул кубанец. — Мы широко заплотим!

Он похлопал себя по карману штанов, отрывисто поохотал и круто оборвал смех, упершись глазами в хозяйку. Она, стиснув зубы, стояла у печи, глядела на него испуганными глазами. Кубанец повернулся к китайцу, тревожно бегая глазами, сказал:

— Ты, ходя, мала-мала иди с дядей, с оцим дядькой, — он указал пальцем на хозяина. — Иди с ним — он сена коням даст... Отпусти-ка, поди. Чуешь? Мы широко плотим! У Красной гвардии прабежу нету. Иди, хозяин, ну? — в голосе кубанца звякнули металлические нотки.

Казак, в сопровождении китайца и другого, оглядываясь, пошел из хаты. Едва лишь спустился с крыльца — услышал плачущий голос жены. Он вбежал в сени, рванул дверь. Легонький крючок выскочил из пробоя. Кубанец, схватив выше локтя голую руку дородной хозяйки, тянул ее в полутемную горницу. Она сопротивлялась, пихала его в прудь. Он хотел было обхватить поперек, приподнять и нести ее, но в это время

дверь распахнулась. Казак широко шагнул, собой заслонил жену. Голос его был вязок и тих:

— Ты пришел в мой курень гостем... на што обижаешь бабу? Ты што же?.. Оставь! Я твою оружия не боюсь! Бери што тебе надо, грабь, но бабу не моги поганить! Через меня перейдешь рази... А ты, Нюрка... — Он, шевеля ноздрями, повернулся к жене: — ступай отсель к дяде Дорофею. Делать тут нечево!

Кубанец, поправляя боевые ремни на рубахе, криво улыбался:

— Сердит ты, хозяин... Уж и пошутковать нельзя... Я на всю роту шутник... ты не знаешь?... Я это нарочно. Дай, думаю, посодовлю бабу, а она взлякалась... А сена ты отпустил? Нема сена? А у соседей е?

Он вышел, насвистывая, с силой махая плеткой. Вскоре к хутору подошел весь отряд. В нем насчитывалось около восьмисот штыков и сабель. Красногвардейцы, на треть разбавленные китайцами, латышами и прочими иноземцами, расположились ночевать за хутором. Командир отряда, повидимому, не хотел ночевать в хуторе, не надеясь на своих разноплеменных и разнuzданных солдат.

Тираспольский отряд 2-й Социалистической армии, потрепанный в боях с тайдамаками и шагавшими через Украину немцами, с боем прорвался на Дон, выгрузился из вагонов на станции Шептуховка, а так как впереди уже были немцы, то с целью пробиться на север, в Воронежскую губернию, — отряд походным порядком пошел через юрт Мигулинской станицы. Разложившиеся под влиянием уголовных элементов, обильно наводнивших собою отряд, красногвардейцы бесчинствовали по дороге. В ночь под 17 апреля, расположившись на ночевку под хутором Сетраковым, они, несмотря на угрозы и запрещения командного состава, толпами пошли в хутор, начали резать овец, на краю хутора изнасиловали двух казачек, открыли беспричинную стрельбу на площади, ранили одного из своих. Ночью заставы перепились (спирт везли на каждой повозке обоза). А в это время трое верховых казаков, высланных из хутора, уже поднимали в окрестностях хутора сполох.

Ночью в потемках седлали казаки коней, снаряжались, наскоро сколачивали отряды из фронтовиков и стариков и, под руководством живших на хуторах офицеров, а то и вахмистров, стягивались к Сетракову, окружали красногвардейский отряд, копились в балках и за буграми. Из Мигулинской, с Колодезного, с Богомолова двигались в ночи полусотни. Поднялись верхнечирцы, наполовцы, калиновцы, ейцы, колодезянцы.

Дотлевали на небе Стожары, линия и облазил ворсистый черный мех ночи. На заре с тиком со всех сторон опрокинулись на красногвардейцев конные казачьи лавины. Пулемет потрещал — и смолк, вспыхнула — и угасла беспорядочная, шалая стрельба, тихо заплескалась рубка.

Через час завершено было дело: отряд разгромлен до тла, более двухсот человек порубано и постреляно, около пятисот взято в плен. Две четырехорудийные батареи, двадцать шесть пулеметов, тысяча винтовок, большой запас боевого снаряжения попало в руки казаков.

День спустя уж цвели по всему округу красные флажки скакавших по шляхам и проселкам нарочных. Станицы и хутора гудели. Вверх ногами летели советы, и наспех выбирались атаманы. К Мигулинской с запозданием шли сотни Казанской и Вешенской станиц.

В двадцатых числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись. Был образован свой округ, наименованный Верхне-Донским. Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, вторая в области, после Михайловской, по величине и многочисленности хуторов станица. Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Карпинская, Боковская станицы. И Верхне-Донской округ, оттягавший себе двенадцать станиц и одну хохлячью волость, зажил обособленной от центра жизнью. В состав Верхне-Донского округа вошли станицы бывшие Донецкого округа: Казанская, Мигулянская, Шумилинская, Вешенская, Еланская, Карпинская, Боковская, Пономаревская волость; бывшие Усть-Медведицкого: Усть-Хоперская, Краснокутская и Хоперского округа — Букановская, Слащевская, Федосеевская.

Окружным атаманом дружно избран был казак Еланской станицы, генерал, окончивший военную академию, Захар Акимович Алферов. Про Алферова говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене — бабе энергичной и умной; говорили, что она тянула бездарного супруга за уши и до тех пор не давала ему дыхнуть, пока он, три раза срезавшись, на четвертый все же выдержал экзамен в академию.

Но в эти дни про Алферова если и говорили, то очень мало. Иное занимало умы.

XXII

Полая вода только что начала сбывать. На лугу, около огородных плетней, оголилась бурая, илистая земля, каймой лежал наплыв, оставшиеся от разлива обломки сухого камыша, ветки, куга, прошлогодние листья, прибитый волною дрям. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели, с ветвей кисточками висели сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки, у самых дворов хутора клонились к воде побегу окруженного разливом краснотала. Желтые пушистые, как неоперенные утята, почки его ныряли в волнах, раскачиваемые ветром.

На зорях к огородам подплывали в поисках корма дикие гуси, казарки, стаи уток. В тубе ¹⁾ зорями кагакали медноголосые гагары. Да и в полдень видно было, как по взлохмаченному ветром простору Дона пестует и няньчит волна белопузых чирков.

Много было в этот год перелетной птицы. Казаки-венгерщики, пробираясь на баркасах к снастям, на заре, когда винно-красный восход кровавит воду, видели не раз и лебедей, отдохавших где-либо в защищенном лесом плёсе. Но вовсе чудным показалась в хуторе привезенная Христоней и дедом Матвеем Кашулиным новость: ездили они в казенный лес выбрать по паре дубков на хозяйственные нужды и, пробираясь по чаще, испугнули из баерака дикую козу с подростком-козленком. Желто-бурая худая коза выскочила из поросшего татарником и тернами баерака, несколько секунд смотрела с пригорка на порубщиков, напряженно перебирала тоненькими, точеными ногами, возле нее жался потомок, и, услышав христонин изумленный вздох, так махнула по молодому дубняку, что лишь мигнули в глазах казаков сине-сизые, глянцевитые раковины копыт да верблюжьего цвета куцый хвост.

— Што это за штука? — роняя топор, спросил Матвей Кашулин.

С ничем необъяснимым восторгом Христоня рывкнул на весь заворуженно-молчаливый лес.

— Коза, стал-быть! Дикая коза, растуды ее милость! Мы их видались в Карпатах!

— Значит, война ее, горемыку, загнала в наши степя?
Христоне ничего не оставалось, кроме как согласиться.

— Не иначе. А ты видал, дед, козленка-то? Язви ево... Ну, с-с-сукин-сын, да и хорош же! Чисто дитё, стал-быть!

Всю обратную дорогу они разговаривали о невиданной в области дичи. Дед Матвей под конец усомнился:

— А, ну, как не коза?

— Коза. Ей-бо, коза, и больше ничево!

— А может... А ежели коза — зачем рогов нету?

— А на што они тебе понадобились, рога?

— Не об том, што мне. Спрашиваю, ежели она козинова роду... почему не при форме? Видал ты коз безрогих? То-то и оно. Может, овца какая дикая?..

— Ты, дед Матвей, стал-быть, ум выжил! — обиделся Христоня. — Поди вон к Мелеховым, погляди. У ихнева Гришки плетка из козливой ноги. Признаешь али нет?

Пришлось-таки деду Матвею итти в этот день к Мелеховым. Держак плетки Григория и в самом деле был искусно обтянут кожей ножки ди-

¹⁾ Туба—низинное место в лугу, обычно поросшее белым лесом, сообщающееся с руслом реки ложиной

кой козы; даже крохотное копытце на конце сохранилось в целости и было столь же искусно украшено медной подковкой.

На шестой недели поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявшие возле леса вентери. Он вышел из дома на расвете. Зябко с'ежившаяся от утренника земля подернулась ледком, грязцо закрутело. Мишка, в ватном пиджаке, в чириках, с вобратыми в белые чулки шароварами, шел, сдвинув на затылок фуражку, дыша наспиртованным морозом воздухом, запахом пресной трели от воды. Длинное весло нес на плече. Отожкнув баркас, шибко поехал опором, стоя, с силой налегая на весло.

Вентери свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, пустил, оправил вентерные крылья и, тихонько от'ехав, решил закурить. Заря чуть занималась. Сумеречно-зеленоватое небо на востоке из-под исподу будто обрызгано было кровийцей. Кровица рассасывалась, стекала над горизонтом, золотисто ржавела. Мишка проследил за медлительным полетом пагары, закурил. Дымок, тая и цепляясь за кусты, поклубил в сторону. Оглядев улов — три веретенки¹⁾, сазана фунтов на восемь, кучу белой рыбы, — подумал:

«Придется часть продать. Лукешка косая возьмет, на сушеные грибы обменяю все — мать звару когда наварит».

Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где примыкал он баркас, сидел человек.

«Кто бы это?» — подумал Мишка, разгоняя баркас, ловко управляя веслом.

У плетня на корточках корячился Валет.

Он курил огромную из газетной бумаги цыгарку.

Хориные, с остринкой, глазки его сонню, обмякло светили, на щеках серела дымчатая щетина.

— Ты чево? — крикнул Мишка.

Крик его круглым мячом гулко покатился по воде.

— Под'езжай.

— За рыбой, што ли?

— На кой она мне!

Валет трескуче закашлялся, харкнул залпом и нехотя встал. Большая не по росту шинель висела на нем, как кафтан на бахчевном чучеле. Висячие поля фуражки прикрывали острые хрящи немых, с зеленью внутри, ушей. Он недавно заявился в хутор, сопутствуемый порочной славой красногвардейца. Казаки спрашивали, где был после демобилизации, но Валет отвечал уклончиво, сводил на-нет опасные разговоры. Ивану Алексевичу да Мишке Кошевому признался, что четыре месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у тай-

¹⁾ Веретенка—небольшая стерлядь.

дамаков, бежал, попал к Северсу, погулял с ним вокруг Ростова и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт.

Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки, оглядываясь, подходя к баркасу, засипел:

— Худы дела... худые... Кончай рыбку удить! А то удим-удим, да и про все забудем...

— Какие твои новости — выкладывай.

Мишка пожал его костлявую ручонку своей провонявшей рыбьей слезью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их паровала дружба.

— Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка... Шерсть летит!..

— Какую? Откуда в Мигулинской?

— Шли через станицу, казаки дали им чистоты... пленных вон какую кучу в Каргин припнали! Там военно-полевой суд уж наворачивает. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнул колокол.

Кошевой примкнул баркас, ссыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажни. Валет жеребенком семенил возле, забегал на перед, запахивая полы шинели, просторно кидая руками.

— Мне Иван Алексеев сказал. Он меня только что сменил с дежурства, мельница-то всю ночь пыхтела, завозно. Ну, а он слышал от самого. К Сергею-то Платону из Вешек офицер чей-то прискакал.

— Што теперь? — на лице Мишки, возмужалом и вылинявшем за годы войны, зачихляла растерянность; он сбоку глянул на Валета, переспросил:

— Как теперь?

— Надо подаваться из хутора.

— Куда?

— В Каменскую.

— А там казаки.

— Левее.

— Куда?

— На Обливы.

— Как пройдешь?

— Захочешь — пройдешь! А нет — оставайся, чорт тебя во' все места нюхай! — окрысился вокруг Валет. — «Как, да куда, да я-то по чем знаю?» Прикутит — сам найдешь лазейку! Носом сыщешь!

— Ты не горячись. На горячих, знаешь, куда ездют? Иван-то што гутарит?

— Ивана твоего пока раскачаешь...

— Ты не шуми... баба вон глядит.

Они опасливо покосились на молоденькую бабёнку, сноху Авдеича Бреха, выгонявшую с база коров. На первом же перекрестке Мишка повернул назад.

— Ты куда? — удивился Валет.

Не поворачиваясь, Кошевой буро бормотнул:

— Вентери поеду сыму.

— На што?

— Не пропадать же им.

— Значит, ахнем? — обрадовался Валет.

Мишка махнул веслом, сказал издали:

— Иди к Ивану Алексееву, а я вентери отнесу домой и зараз приду.

Иван Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел Григория. Христоня пришел сам, словно учуял беду. Вскоре вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали сполёшого звона.

— Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки! — возбуждающе горячился Валет.

— Ты нам, стал-быть, резон дай — чево мы пойдём? — спрашивал Христоня.

— Как чего? Начнется мобилизация, думаешь — зацепишься?

— Не пойду — и все.

— Поведут!

— Не дóразу. Я им не бычок на оборочке!

Иван Алексеевич, выславший из хаты свою раскосую жену, сердито буркнул:

— Взять — возьмут... Валет правильно гутарит. Только куда итить? Вот загвоздка.

— Я уж говорил ему, — вздохнул Мишка Кошевой.

— Да что ж вы, аль мне всех больше надо? Один уйду! Не нужны нюхари! «Как, да чево, да к чему»... Вот замылют вас, да еще в тюрьме за большевизму насидитесь!.. Шутки шутите? Время, вишь, какое... Тут все к чорту пойдет!..

Григорий Мелехов сосредоточенно, с каким-то тихим озлоблением вертевший в руках выдернутый из стены ржавый гвоздик, холодно обрезал Валета:

— Ты не сепети! Твое дело другое: ни спереду, ни сзади — снялся, да пошел. А нам надо толком обдумать. У меня вот баба да двое детишек... Я нанюхался пороху не с твое! — Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя плотные клыкастые зубы, крикнул:

— Тебе можно языком трепать, засранец! Как был ты Валет, так и остался им! У тебя кроме пинжака ничево нету...

— Ты что рот раззявал? Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! — выкрикнул Валет.

Ежиная мордочка его побелела от злости, остро и дичало зашныряли узко сведенные злые глазенки, даже дымчатая шерсть на ней как будто зашевелилась.

Григорий сорвал на нем злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. Выкрик Валета взбесил его окончательно. Он вскочил, как ушибленный, подойдя в упор к ерзавшему на табурете Валету, с трудом удерживая руку, зудевшую желанием ударить, сказал:

— Замолчи, гаденыш! Сопля паршивая! Огрызок человечий! Чево ты командуешь? Ступай, кой тебя... держит! Валяй, штоб тобой и не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то так отхожу тебя на прощанье...

— Брось, Григорий! Не дело! — вступился Кошевой, отводя от сморщенного носа Валета пригорьев кулак.

— Казацкие замашки бросать бы надо... И не совестно?.. Совестно, Мелехов! Стыдно!

Валет встал, виновато покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал, повернувшись кольнул зло улыбавшегося Григория:

— Еще в Красной гвардии был... Жандармерия!.. Таких мы на распыл пуцали!..

Не стерпел и Григорий, вскочил, как резиновый, выгналкивая Валета в сенцы, наступая ему на задники стоптанных солдатских ботинок, недобрым голосом пообещал:

— Ступай! Ноги из ж... повыдергаю!

— Ни к чему это! Ну, што, чисто как ребятишки!..

Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория. Мишка молча покусывал губы, — видно, сдерживал просившееся наружу резкое слово.

— А он што не своё на себя берет? Чево он расхотелся? — оправдывался Григорий не без смущения; Христоня глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой, ребяческой улыбкой. — Чудок не избил ево!.. там и бить-то раз хлопнуть — и мокро.

— Ну, как вы? Надо дело делать.

Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого, ответил натужно:

— Што ж, Михаил?!.. Григорий — он отчасти прав: как это сняться, да и лететь? У нас — семьи... Да ты погоди!.. — заторопился он, уловив нетерпеливое мишкино движение: — Может, ничево и не будет... почем знать? Разбили отряд под Сетраковым, а остальные не сунутся... А мы погодим трошки. Там видно будет. К слову сказать, и у меня баба с дитем, и обносились, и муки нету... как же так — сгребся да ушел? А они при чем останутся?..

Мишка раздраженно шевельнул бровью, в земляной пол всадил взгляд.

— Не думаете уходить?

— Я думаю погодить с этим. Уйти всегда не поздно... вы — как, Григорий Пантелеев, и ты, Христан?..

— Стал-быть, так... повременим.

Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана Алексеевича и Христана, оживился:

— Ну, конечно, я про то и говорю. За это и с Валетом поругался. Што это лозу рубить, што ль? Раз, два — и готово?.. Надо подумать... подумать, говорю...

«Дон-дон-дон-дон» — сорвалось с колокольни и залило площадь, улицы, проулки; над бурой гладью полной воды, над непросохшими меловыми мысами горы звон пошел накатом, в лесу рассыпался на мелкие, как чечевица, осколки, стена, замер. И еще раз уже безостановочно и тревожно:

«Дон-дон-дон-дон!...»

— Вонна, кличут! — часто заморгал Христаня. — Я зараз на баркас. На этот бок, в лес. Погэль меня и видали!

— Ну, так как же? — Кошевой тяжело, по-стариковски встал.

— Не пойдем зараз, — за всех ответил Григорий.

Кошевой еще раз шевельнул бровью, отвел со лба тяжелый, вытканый из курчавых завитков золотистый чуб.

— Прощайте... Расходятся, видно, наши тропки!

Иван Алексеевич улыбнулся извиняюще:

— Молодой ты, Мишатка, горячий... Думаешь, не сойдутся? Сойдутся! Будь в надеже!..

Попрошавшись, Кошевой вышел. Через двор махнул на соседнее гумно. У канавы жался Валет. Он словно знал, что Мишка пойдет сюда; поднимаясь ему навстречу, спросил:

— Ну?

— Отказались.

— Я еще раньше знал. Слабьяки... А Гришка... подлец он, твой товарищ! Он самого себя раз в год любит. Обидел он меня, сволочь! Рад, што сильнее... Винтореза при мне не было — убил бы... — сказал он хлипким голосом.

Мишка, шагая рядом с ним, глянул на его ежистую, вздыбленную щетину, подумал: «А ить убил бы, хорек!»

Они шли быстро, каждый звяк колокола хлестал их кнутовым ударом.

— Зайдем ко мне, харчей возьмем — и айда! Пешки пойдем, коня брошу. Ты ничево не будешь брать?

— Все на мне, — скривился Валет. — Хором не нажил, именья — тоже... Жалованье вот за полмесяца не получил. Ну, да пушай пузан наш, Сергей Платоныч, наживется. Он аж затрясется от радости, што расчета не взял.

Звонить перестали. Утренняя, не стяхнувшая дрему, сонливая тишина ничем не нарушалась. Над дорогой в золе копались куры, возле плетней ходили раз'евшиеся на зеленке телята. Мишка оглянулся назад: к площади на майдан спешили казаки. Некоторые выходили из дворов, на ходу застегивая сюртуки и мундиры. По площади прожег верховой. У школы толпился народ, белели бабы платки и юбки, густо чернели казачьи спины.

Баба с ведрами остановилась, не желая переходить дорогу, сказала сердито:

— Идите, штоля, а то дорогу перейду!

Мишка поздоровался с ней, и она, блеснув из-под разлтых бровей улыбкой, спросила:

— Казаки на майдан, а вы — оттеля? Чево же не идешь туда, Михайла?

— Дома дело есть.

Подшли к проулку. Завиднелась крыша мишкиной хатенки, раскачиваемая ветром скворешня, с привязанной к ней сухой вишневой веткой. На бугре слабосильно взмахивал ветряк, на переплете крыльев полоскалась оторванная ветром парусина, хлопала жесь остроконечной крыши.

Не ярко, но тепло светило солнце. От Дона дул свежий ветерок. На углу, во дворе Архипа Богатырева, — большого, староверской складки старика, служившего когда-то в гвардейской батарее, — бабы обмазывали глиной и белили к пасхе большой круглый курень. Одна из них месила глину с навозом. Ходила по кругу, высоко подобрав юбку, с трудом переставляя белые, полные в икрах ноги, с красными полосками на коже — следами подвязок. Кончиками пальцев она держала приподнятую юбку, матерчатые подвязки были сбиты выше колен, туго врезались в тело.

Была она большая щеголиха и, несмотря на то, что солнце стояло еще низко, лицо закутала платком. Остальные, две молоденькие бабенки, сноха и девка — дочь Архипа, забравшись по лестницам под самую камышовую крышу, крытую нарядно, под корешок, — белили. Мочалковые щетки ходили в их засученных по локоть руках, на закутанные по самые глаза лица сыпались белые брызги. Они пели дружными спешимися голосами. Одна из них, старшая сноха, вдовая Марья, открыто бегавшая к Мишке Кошевому, веснушчатая, но ладная казачка, заводила низким, славившимся на весь хутор, почти мужским по силе и густоте голосом:

— Да никто ж так не страдает...

Остальные в три голоса искусно пряли эту бабью, горькую, наивно-жалующуюся песню:

...Как мой милый на войне.
Сам он пушку заряжает,
Сам думает обо мне...

Мишка и Валет шли возле плетня, вслушиваясь в песню, перерезанную залиvistым конским ржаньем, доносившимся с луга.

...Как прошло письмо, да с печатью,
Што милый мой убит.
Ой, убит, убит мой миленочек,
Под кустиком лежит...

Оглядываясь, поблескивая из-под платка серыми, теплыми глазами, Марья смотрела на проходившего Мишку и, улыбаясь, светлея забрызганным белыми пятнами лицом, вела низким любовно-грудным голосом:

А и кудри ево, кудри русы,
Их ветер разметал.
А и глазки ево, глазки кари,
Черный ворон выклевал.

Мишка ласково, как и всегда в обращении с женщинами, улыбнулся ей, водворке Пелагее, месившей глину, сказал:

— Подбери выше, а то через плетень не видно!

— Захочешь, так увидишь, — прижмурилась она.

Марья, подбоченясь, стояла на лестнице, оглядываясь по сторонам, спросила протяжно:

— Иде ходил, милата?

— Рыбалил.

— Не ходи далеко, пойдем в амбар позорюем.

— Вот он тебе свекор, бесстыжая!

Марья щелкнула языком и, захохотав, махнула в Мишку смоченной щеткой. Белые капли осыпали его сюртук и фуражку.

— Ты б нам хучь Валета ссудобил. Все помог бы курень прибрать, — крикнула вслед младшая сноха, выравнивая в улыбке сахарную блёсну зубов.

Марья что-то сказала вполголоса, бабы грохнули смехом.

— Распутная сучка! — нахмурился Валет, убыстря шаг, но Мишка томительно и нежно улыбаясь, поправил его:

— Не распутная, а веселая. Уйду, — останется любушка. «Ты прости-прощай, сухота моя!», — проговорил он словами песни, входя в калитку своего база.

XXIII

После ухода Кошевого казаки сидели некоторое время молча. Над хутором шатался набатный гуд, мелко дребезжали оконца хаты. Иван Алексеевич смотрел в окно. От сарая падала на землю рыхлая утренняя тень. На барашковой мураве сединой лежала роса. Небо даже через стекло ёмко и сине мазурилось. Иван Алексеевич поглядел на свесившего патлатую голову Христоню.

— Может, на этом и кончится дело? Разбили мигулинцы, а больше не сунутся...

— Нет, уж... — Григорий весь передернулся: — почин сделали — теперь держи! Ну, што ж, пойдём на майдан?

Иван Алексеевич потянулся к фуражке, разрешая свое сомнение, спросил:

— А што, ребята, не заржавели мы и в самом деле? Михаил — он хучь и горяч, а парень дельный... попрекнул он нас.

Ему никто не ответил. Молча вышли, направились к площади.

Раздумчиво глядя под ноги, шел Иван Алексеевич. Он маялся тем, что скривил душой и не так сделал, как ему подсказывало сознание. Правота была на стороне Валета и Кошевого; нужно было уходить, а не мяться. Те оправдания, которые мысленно подсовывал он себе, были ненадежны, и чей-то рассудочный насмешливый голос, звучавший внутри, давил их, как конское копыто ледок на луже. Единственное, что решил Иван Алексеевич твердо, — при первой же стычке перебежать к большевикам. Решение это выспело в нем во время пути к майдану, но ни Григорию, ни Христоне он не сказал о нем, смутно понимая, что они переживают что-то иное, и в глубине сознания уже опасаясь их. Вместе, втроем, они отвергли предложение Валета, не пошли, ссылаясь на семьи, в то время как каждый из них знал, что ссылки эти неубедительны и что они не могут служить оправданием. Теперь они каждый порознь, по-своему чувствовали неловкость друг перед другом, словно совершили пакостное, постыдное дело. Шли молча; против моховского дома Иван Алексеевич, не выдержавший тошного молчания, казня самого себя и других, сказал:

— Нечего греха таить: с фронта пришли большевиками, а зараз в кусты лезем! Кто бы за нас воевал, а мы с бабами...

— Я-то воевал, пуцай другие спробуют, — отворачиваясь, проорнул Григорий.

— Што ж, они... разбойничают, а мы, стал-быть, должны к ним иттить? Што это за Красная гвардия?! Баб сильничают, чужое грабят. Тут оглядеться надо. Слепой, стал-быть, всегда об углы бьется.

— А ты видал это, Христан? — ожесточенно спросил Иван Алексеевич.

— Люди гутарют.

— А-а... люди...

— Ну, будя! Нас тут ишо не слышали.

Майдан пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка островком чернела лохматая папаха. Собрался весь хутор. Баб не было. Одни старики да казаки фронтового возраста и помоложе. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые: почетные судьи, члены церковного совета, попечители школы, титор. Григорий повел глазами, разыскал отцову посеребрённую с чернью бороду. Он стоял рядом со сватом Мироном Григорьевичем. Впереди их, в сером парадном мундире с регалиями, слег на шишкастый костыль дед Гришака. Рядом со сватом — румяный, как яблочко, Авдеич Брех, Матвей Кашулин, Архип Богатырев, вырядившийся в казачью фуражку Атепин-Цаца; дальше сплошным полукруглым частоколом — знакомые лица: бородатый Егор Синилин, Яков Подкова, Андрей Кашулин, Николай Кошевой, длинновязый Борщев, Аникушка, Мартин Шамиль, голенастый мельник Громов, Яков Коловейдин, Меркулов, Федот Бодовсков, Иван Томилин, Епифан Максаев, Захар Королев, сын Авдеича Бреха — Антип, курносый, мелкорослый казачишка. Брата Петра Григорий, переходя, увидел на противоположной стороне круга. Петро, в рубашке с оранжево-черными георгиевскими ленточками, зубоскалил с безруким Алешкой Шамилем. Влево от него зеленели глаза Митьки Коршунова. Тот прикуривал от цыгарки Прохора Зыкова. Прохор помогал, выкатывая телячьи глаза, плямкал зубами — раздувал огонек. Сзади толпились молодые казаки, в середине круга, у шаткого столика, всеми четырьмя ножками врезавшегося в податливую, непросохшую землю, сидел председатель хуторского ревкома Назар и рядом с ним, опираясь рукою о крышку стола, стоял незнакомый Григорию сотник, в защитной фуражке с кокардой, в куртке с погонами и узеньких галифе цвета хаки. Председатель ревкома что-то смущенно говорил ему, сотник слушал, чуть нагнувшись, склонив к председательской бороде большое оттопыренное ухо. Майдан, как пчельник, полнился тихим шумом. Казаки переговаривались, шутили, но лица всех были напряжены. Кто-то не выдержал ожидания, крикнул молодого:

— Начинайте! Чево ждать? Все почти собрались!

Офицер непринужденно выпрямился, снял фуражку и просто, как среди семьи, заговорил:

— Господа старики и вы, братья фронтовые казаки! Вы слышали, что произошло на хуторе Сетракове?

— Чей это? Откедова? — забасил Христоня.

— Вешенский, с Черной речки, Солдатов, што ли... — ответил кто-то.

— В Сетраков, — продолжал сотник, — на-днях пришел отряд Красной гвардии. Германцы заняли Украину и, подвигаясь к области Войска Донского, отбросили их от железной дороги. Они и направились через мигулинский юрт. Заняв хутор, начали грабить имущество казаков, насиловать казачек, производить незаконные аресты и так далее. Когда в окружающих хуторах стало известно о случившемся, казаки с оружием в руках напали на грабителей. Отряд был наполовину уничтожен, наполовину забрат в плен. Мигулинцам достались богатейшие трофеи. Мигулинская и Казанская станицы сбросили с себя иго большевицкой власти. Казаки от мала до велика поднялись на защиту тихого Дона. В Вешенской ревком разогнан, избран станичный атаман, в большинстве хуторов — то же.

В этом месте сотниковой речи старики сдержанно загомонили; председатель ревкома заерзал на стуле ровно волк, ущемленный капканом.

— Повсюду сформированы отряды. Вам бы тоже надо сформировать из фронтовиков отряд, чтобы оградить станицу от нового нашествия диких, разбойничьих полчищ. Мы должны восстановить свое управление! Красной власти нам не надо, — один разврат она несет, а не свободу! Ведь не позволим же мы, чтобы мужики обещивали наших жен и сестер, чтобы глумились они над нашей прославленной верой, надругивались над святыми храмами, грабили наше имущество и достояние... не так ли, господа старики?

Майдан крякнул от дружного «Верна-а-а-а!» Сотник начал читать отпечатанное на шапирографе воззвание. Председатель улизнул из-за стола, позабыв какие-то бумаги. Толпа слушала, не проронив ни одного слова. Сзади вяло переговаривались фронтовики.

Григорий, как только офицер начал читать, вышел из толпы, направляясь домой, неспешно пошел к углу о. Виосариона дома. Мирон Григорьевич доглядел его уход, Пантелея Прокофьевича — локтем в бок.

— Твой-то меньшей, гляди, пошел!

Пантелей Прокофьевич выхромал из курагота, просяще и повелительно окликнул:

— Григорий!

Тот повернулся боком, стал не оглядываясь.

— Вернись, сынок!

— Чево уходишь? Ворочайся! — загремели голоса, и стена лиц повернулась к Григорию.

— Офицера заслужил тоже!..

— Нос нечево воротить!

— Он сам в них был!

— Тоже казачей кровушки попился..

— Краснопуз!

Выкрики долетели до слуха Григория. Стиснув зубы, он слушал, видимо, боролся сам с собой; казалось, еще минута — и пойдет без оглядки.

Пантелей Прокофьевич и Петро облегченно вздохнули, когда Григорий качнулся, пошел на толпу, не поднимая глаз.

Старики разошлись во-всю. С диковинной быстротой быт тут же избран атаманом Мирон Григорьевич Коршунов. Сергея конопинами белесового лица, он вышел на середину, конфузливо принял из рук прежнего атамана символ власти — медноголовую атаманскую насеку. До этого он ни разу не ходил в атаманах; когда выбирали его — ломался, отказывался, ссылаясь на незаслуженность такой чести и на свою малограмотность, но старики секли его подмывающими криками:

- Бери насеку! Не супротивничай, Григорич!
- Ты у нас в хуторе первый хозяин!
- Не проживешь хуторское добро!
- Гляди, хуторские паи не пропей, как Семен!
- Но-но... этот пропьет!..
- С базу есть чево взять!
- Слупим, как с овечки!..

Так необычны были стремительные выборы и вся полубоевая обстановка, что Мирон Григорьевич согласился без особых упрасиваний. Выбирали не так, как прежде. Бывало, приезжал станичный атаман, созывались десятидворные, кандидаты баллотировались, а тут — так-таки, по-простому, с плеча: «Кто за Коршунова — прошу отойти вправо». Толпа вся хлынула вправо, лишь чеботарь Зиновий, имевший на Коршунова зуб, остался стоять на месте один, как горелый пенёк в займище.

Не успел вспотевший Мирон Григорьевич глазом мигнуть, — ему уж всучили в руки насеку, заревели издали и под самым ухом:

- Магарыч станови!
- Все шары накатили тебе!
- Обмывать надо!
- Качать атамана!

Но сотник, прерывая крики, умело направил сход на деловое решение вопросов. Он поставил вопрос о выборе командира отряда и, наверное, наслышанный в Вешенской о Григории, лстя ему польстил и хутору:

— Желательно бы иметь командира — офицера! С тем и дело в случае боя будет успешней, и урона меньше будет. А на вашем хуторе героев — хоть отбавляй. Я не могу навязывать вам, станичники, свою волю, но со своей стороны порекомендую вам хорунжего Мелехова.

— Какова?

— Два их у нас.

Офицер, скользая по толпе глазами, остановился на видневшейся сзади угнутой голове Григория, улыбаясь, крикнул:

— Григория Мелехова!.. Как вы, станишники?

— В добрый час!

— Покорнейше просим!

— Григорь Пантелевич! Ядрена-голень!

— Выходи середь крута! Выходи!

— Старики хочут поглядеть на тебя!

Подталкиваемый сзади, Григорий, багровея, вышел на середину круга, затравленно оглянулся.

— Веди наших сынов! — стукнул костью Матвей Кашулин и размашисто закрестился. — Веди и руководишь ими, штоб они у тебя, как гуси у доброва гусака, в шайке сохранялись. Как энтот караулит своих племяков и оберегает от хишнова зверя и человека, так и ты оберегай. Сумей ишо четыре креста заслужить, давай тебе бог!

— Пантелей Прокофич, сын у тебя!..

— Голова у него золотая! Мозговит, сукин кот!

— Чорт хромой, станови хучь четверть!

— Га-га-га-га!.. Об-мо-е-ем!..

— Господа старики! Тише. Может, назначим две али три переписи безо всяких охотов? Охотники ни то пойдут, ни то нет...

— Три года!

— Пять!

— Охотников набирать!

— Сам ступай, какой тебя... держит?

К сотнику, о чем-то говорившему с новым атаманом, подошли четверо стариков с верхнего конца хутора. Один из них, мелкий, беззубый старичонка, по уличному прозвищу Сморчок, известный тем, что всю жизнь сутяжничал и так часто ездил в суд, что единственная белая кобыла, которая была у него в хозяйстве, настолько изучила туда дорогу, что стоило пьяному ее хозяину упасть в повозку и крикнуть свиристящим дискантом «В суд!» — кобыла сама направлялась по дороге в станицу, — Сморчок, стягивая шапчонку, подошел к сотнику. Остальные старики, из них один — крепкий хозяин, уважаемый всеми, Герасим Болдырев, остановились возле. Сморчок, помимо всех прочих достоинств обладавший краснобайством, первый затронул сотника:

— Ваше благородие!

— Что вам, господа старики? — любезно изогнулся сотник, наставляя большое, с мясистой мочкой ухо.

— Ваше благородие, вы, значит, не дюже наслышны об нашем хуторном, коего вы определили нам в командиры. А мы вот, старики,

обжалуем это ваше решение, и мы — правомочные на это. Отвод ему даем!

— Какой отвод? В чем дело?

— А в том, што, как мы могём ему доверять, ежели он сам был в Красной гвардии, служил у них командиром и только два месяца назад, как вернулся оттель по ранению.

Сотник порозовел. Уши его будто припухли от прилива крови.

— Да не может быть?! Я не слышал про это... Мне никто ничего не говорил на этот счет...

— Верно, был в большевиках, — сурово подтвердил Герасим Болдырев. — Не доверяем мы ему!

— Сменить его! Казаки вон молодые што гутарют? «Он, гутарют, нас в первом же бою предаст!»

— Господа старики! — крикнул сотник, приподнимаясь на цыпочки; он обращался к старикам, хитро минуя фронтовиков: — Господа старики! В отрядные мы выбрали хорунжего Григория Мелехова, но не встречается ли к этому препятствий? Мне заявили сейчас, что он зимою сам был в Красной гвардии. Можете ли вы ему доверить своих сынов и внуков? И вы, братья фронтовики, со спокойным ли сердцем пойдете за таким отрядным?

Казаки ошалело молчали. Крик вырос сразу, из отдельных восклицаний и возгласов нельзя было понять ни одного слова. Потом уже, когда, поорав, умолкли, на средину круга вышел клочкобровый старик Богатырев, снял перед сбором шапку, огляделся.

— Я так думаю своим глупым разумом — што Григорию Пантелевичу не дадим мы эту должность. Был за ним такой прех, — слышали мы все про это. Пуцай он наперед заслужит веру, покроет свою вину, а посла видать будем. Вояка из него — добрый, знаем... но ить за мгой и солнышка не видно: не видим мы его заслуг — глаза нам застит его служба в большевиках!..

— Рядовым его! — запальчиво кинул молодой Андрей Кашулин.

— Петра Мелехова командиром!

— Нехай Гришка в табуне походит!

— Выбрали б на свою голову!

— Да я и не нуждаюсь! На кой чорт вы мне сдались! — кричал зади Григорий, краснея от напряжения; взмахнув рукой повторил: — Я и сам не возьмусь! На чорта вы мне понадобились! — сунул руки в глубокие карманы шаровар, ссутулясь, журавлиным шагом потянул домой.

А вслед ему:

— Но-но! Не дуже!..

— Поганка вонючая! Руль свой горбатый задрал!

— Ого-го!

— Вот как турецкие кровя им распоряжаются!

— Не смолчить, небось! Офицерам на позициях не молчал. А то, штоб тут...

— Вернись!..

— Га-га-га-га!..

— Узы ево! Га! Тю! Улю-лю-лю-лю!..

— Да чево вы зад перед ним заносите? Своим судом ево!

Поуспокоились не сразу. Кто-то, кого-то в тылу споров толкнул, у кого-то кровь из носа вышибли, кто-то из молодых неожиданно разбогател шишкой под глазом. После всеобщего замирения приступили к выборам отрядного. Провели Петра Мелехова — и он аж поалел от гордости. Но тут-то и напоролся сотник, как ретивый конь на чересчур высокий барьер, на непредвиденное препятствие: дошла очередь записываться в охотники, а охотников-то и не оказалось. Фронтовики, сдержанно относившиеся ко всему происходившему, мялись, не хотели записываться, отшучивались:

— Ты чево ж, Аникей, не пишешься?

И Аникушка бормотал:

— Молодой я ишо... Вусов вон нету...

— Ты шутки не шути! Ты што — на смех нас поднимаешь? — вопил у него под ухом старик Кашулин.

Аникей отмахивался словно от камариного брунжання:

— Свово Андриюшку поди запиши.

— Записал!

— Прохор Зыков! — выкрикивали у стола.

— Я!

— Записывать?

— Не знаю...

— Записали!

Митька Коршунов с серьезным лицом подошел к столу, отрывисто приказал:

— Пиши меня.

— Ну, ишо кто поимет охоту?.. Бодовсков Федот... ты?

— Грызь у меня, господа старики!.. — невнятно шептал Федот, скромно потупив раскосые, калмыцкие глаза.

Фронтовики открыто гоготали, брались за бока, щедрые на шутку, отмачивали:

— Бабу свою возьми... на случай вылезет грызь — вправит.

— Ах-ха-ха-ха!.. — покатывались сзади, кашляя и блестя зубами и масляными от смеха глазами.

А с другого конца синичкой перелетала новая шутка:

— Мы тебя в кашевары! Сделаешь борщ поганый, — до тех пор будем в тебя лить, покеда с другога конца грызь вылезет.

— Резко не побегешь — самое с такими отступить.

Старики негодовали, ругались.

— Будя! Будя! Ишь, какая им веселость!

— Нашли время дурь вылаживать!

— Совестно, ребята! — резонил один. — А бог? То-то! Бог — он не спустит. Там помирают люди, а вы... а бог?

— Томилин Иван, — поворачиваясь, огляделся сотник.

— Я артиллерист, — отозвался Томилин.

— Записываешься? Нам и артиллеристы нужны.

— Пиши... э-эх!

Захар Королев, Аникушка, с ними еще несколько человек подняли батарейца на смех.

— Мы тебе из вербы пушку выдолбим!

— Тыквами будешь заряжать, картошка замест картечи!

С шутками и смехом записалось шестьдесят казаков. Последним объявился Христоня. Он подошел к столу, сказал с расстановочкой:

— Намулой, стал-быть, меня. Только наперед говорю, што драться не буду.

— Зачем же тогда записываться? — раздраженно спросил сотник.

— Погляжу, господин офицер. Поглядеть хочу.

— Пишите его, — пожал плечами сотник.

С майдана расходились чуть ли не в полдень. Решено было на другой же день отправляться на поддержку мигулинцев.

Наутро на площади из шестидесяти добровольцев собралось только около сорока. Петро, щеголевато одетый в шинель и высокие сапоги, оглядел казаков. На многих синели заново нашитые погоны с номерами прежних полков, иные красовались без погонов. Седла пухли походными вьюками, в тороках и сумках — харчи, бельишко, запасенные с фронта патроны. Винтовки были не у всех, холодное оружие — у большинства.

На площади собрались провожать служивых бабы, девки, детишки, старики. Петро, гарцуя на своем отстоявшемся коне, построил свою полусотню, оглядел разномастных лошадей, всадников, одетых то в шинели, то в мундиры, то в брезентовые дождевые плащи, командовал трогаться. Отрядик шагом поднялся на гору, казаки хмуρο оглядывались на хутор, в заднем ряду кто-т выстрелил. На бугре Петро надел перчатки, расправил пшеничные усы и, поворачивая коня так, что он, часто переступая, пошел боком, крикнул, улыбаясь, придерживая левой рукой фуражку:

— Со-о-отня, слушай мою команду!.. Рысью марш!..

Казаки, стоя на стременах, махнули плетями, зарысили. Ветер бил в лицо, трепал конские хвосты и гривы, сулил дождик. Начались разговоры, шутки. Под Христоней споткнулся вороной трехвершковый

конь. Хозяин огрел его плетюганом, выругался; конь, сколесив шею, перебил на намёт, вышел из ряда.

Веселое настроение не покидало казаков до самой станицы Каргинской. Шли с полным убеждением, что никакой войны не будет, что мигулинское дело — случайный налет большевиков на казачью территорию.

(Продолжение следует).

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК —Неопределенная высота над уровнем моря (рассказ) . . .	3
ИВАН ЕВДОКИМОВ —Усадьба Юрово (повесть)	26
МИХ. ШОЛОХОВ —Тихий Дон (роман)	90
СТИХИ —В. Саянова, В. Александровского, Геннадия Коренева, Антона Пришельда, Ник. Попова	139--147

ВОСПОМИНАНИЯ

БОНЧ-БРУЕВИЧ —Женевские воспоминания	148
---	-----

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

А. СЕРАФИМОВИЧ —В Сормове	163
В. СОЛЬСКИЙ —Землетрясение	172

ЛИТЕРАТУРА

Л. МЫШКОВСКАЯ —Преображение сырья (к истории создания «Хаджи-Мурата»)	180
Б. РЕЙХ —Генрик Ибсен	198

БИБЛИОГРАФИЯ

Я. Григорьев, П. Нович, Ж. Эльсберг, Виктор Красильников, Ю. Данилин . . .	205—212
---	---------

цена 1 руб. 40 коп



Подписку направлять:
ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Москва, Кузн. Мост, 7. Ленинград, Просп.
Володарского, 53-а. Розничная продажа от-
дельн. номеров во всех магазинах и киосках.